ФАИНА **РАНЕВСКАЯ**

имя - судьба - легенда

АРЛЕКИН И СКОРБНЫЙ ЭККЛЕЗИАСТ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Фаина Георгиевна Раневская – великая драматическая актриса со столь же драматической судьбой. Она выделяется в ряду даже самых выдающихся служителей Мельпомены – веселящий публику Арлекин и вместе с тем скорбный, как Экклезиаст, мудрец. Она была уникальной личностью и в искусстве, и в повседневной жизни, занавес над которой приоткрывают фрагменты воспоминаний, представленные в этой книге. Они тоже по-своему незаурядны, благодаря своей афористичности, а также присущей Фаине Георгиевне эмоциональности и тонкому психологизму. Ее дневники и записи позволяют увидеть некоторые тайники души, веселой и печальной одновременно, по-настоящему народной артистки.

- Фаина Георгиевна Раневская
  - Предисловие
  - У меня хватило ума глупо прожить жизнь
  - Жизнь отнимает столько времени, что писать о ней – некогда
  - Богатство в том, что мне оно не нужно
  - Начинала как «героиня-кокетт»
  - Все домработницы ушли в актрисы
  - Так много любви, а в аптеку сходить некому
  - Я просто кричу обо всем, что у меня в голове
  - Не верю в духов, но боюсь их
  - Феноме́н,феноме́н, и еще раз феноме́н
  - Если у женщины есть голова, то у нее есть любовник
  - Слава Богу, что я не мужчина, а то была бы еще импотенция
  - Вавочка, я дарю тебе этот огурчик!…Хочешь ешь его, а хочешь живи с ним
  - Избранные письма друзьям и подругам
  - Из воспоминаний 80-х годов XX в.
  - Это память, а память не нуждается в шлифовке
    -
    - Спешите делать добро
    - Актер весь в судьбе героя
    - Новое есть талант
    - О Фаине Раневской
    - Я так люблю жизнь
    - Театр – мой праздник
    - Вместо послесловия

- Иллюстрации
- notes
  - 1

Фаина Георгиевна Раневская
Арлекин и скорбный Экклезиаст

Предисловие

Удивительный факт: в 1992 году во всемирно известной английской энциклопедии «Кто есть кто» Фаина Георгиевна Раневская указывалась в списке десяти самых выдающихся актрис XX века! И это при том, что в кино она всегда выступала всего лишь «мастером эпизода», да и в театре – вовсе не могла похвастаться обилием ролей. Писатель-юморист Эмиль Кроткий как-то даже ехидно заметил: «Имя её не сходило с афиши, где она неизменно фигурировала в числе „и др.“».

И действительно – большинство ролей вполне может уместиться в эти обидные рамки: «и другие…». По-настоящему «знаковых» театральных ролей – всего две, в Театре имени Моссовета: миссис Сэвидж (спектакль «Странная миссис Сэвидж») и Люси Купер (постановка «Дальше – тишина»). И тем не менее – такое признание таланта! Мало какие советские «примы» того времени получили вот такую, «мировую» известность!

Да, интригует… Хочется во всём не спеша разобраться… Хотя писать о Раневской – довольно неблагодарное занятие. По поиску «Гугл» в интернете выскакивает свыше 50 призывных обложек книг – с её «непосредственным участием». Из них – полтора десятка развёрнутых и не очень биографий, с рассказами о Великой актрисе и Мыслителе. Издана даже книга неких «стихов-медитаций на мысли Фаины Раневской». (Боже правый – видать, для «совсем продвинутых»). Едва ли есть смысл «соревноваться» со всем этим сонмом культурологов, историков, искусствоведов, да и просто профессиональных «вспоминателей былого». Ведь о Раневской сказано уже просто… «вагон и маленькая тележка»!

Но я, как благодарный зритель и читатель, поклонник таланта Фаины Георгиевны – имею полное право выразить о её творческом пути некоторые собственные ассоциации. Пусть субъективные, вольные (возможно даже – чересчур!) – но уж как есть… Издатель, если посчитает их заслуживающими внимания – вправе обнародовать. Ну, а читатель – соответственно прочитать (или, как минимум – просмотреть наискосок).

Найдёт ли кто для себя что-то новое и полезное? Вопрос на засыпку… Во-первых, что считать «полезным»? Просто пищу для размышлений, строительный материал для создания собственных словесных конструкций – учитываем? А что насчёт вожделенной «новизны» – так ведь сказано, ещё «во время оно»: «Нет ничего нового под солнцем!»

И правильно сказано! А читая воспоминания и размышления Раневской – как раз и начинаешь поневоле соглашаться со

многими «отнюдь не жизнеутверждающими» изречениями многомудрого библейского мудреца Экклезиаста. Возникает стойкое ощущение, что местами Фаина Георгиевна выступает просто как – ни дать, ни взять! – его современная проекция…

«Воспоминания – это богатство старости», – напишет однажды Великая актриса. Так почему бы нам не попробовать поискать что-то интересное в этом богатстве? Аккуратно разворошить его – просто «со стороны», с позиции нейтрального наблюдателя?

* * *

…Когда задаёшь себе вопрос: а с кем можно сравнить Фаину Георгиевну (Деятеля культуры – с большой буквы, а не только «театра и кино»), то как-то и не сразу можешь ответить.

Из актёрской братии многие довольно успешно и громко являли «смежные» таланты. К тому же большинство – остры на язык. Кто-то писал эпиграммы, частушки для театральных капустников, ироничные сказки с элементами сатиры… или афоризмы с назидательной развязкой. Подавляющее большинство артистических деятелей оставило после себя пафосные мемуары, с подробным изложением и обоснованием «высокого штиля» и «себя-самоё» в Искусстве. Оптимистично настроенные поклонники разного рода талантов поговаривают меж собой, что некоторые из ушедших и ныне живущих «звёзд» – даже, вроде как, непосредственно участвовали в отдельных элементах процесса создания столь важной для потомков печатной мемуаристики.

Согласен, у нас много (было и есть… впрочем, всё же больше – «было»!) блистательных комедийных актёров, некоторые из них – «в быту» являли собой разочаровавшихся в жизни философов-одиночек, с оригинальным взглядом на Мироздание и социальную миссию искусства…

Но все «добившиеся и признанные», по ощущениям, как-то слишком упорно и цепко придерживались выбранного, «однажды нащупанного» жанра, в коем плотно и удобно укоренялись. На стыках жанров и стилей – видимо, как-то неуютно существовать: не совсем понятно, что конкретно писать в наградных листах, регулярно отправляемых по инстанциям.

А вот Раневская – как-то не особенно вписывается в сплочённые ряды «небожителей от Ея Величества Культуры». Но опять-таки: по субъективным ощущениям. Комическая, буффонадная актриса… и скорбный философ «а-ля Экклезиаст». «Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите:

«Умерла от отвращения», – заявляла Фаина Георгиевна… и когда читаешь её дневники – понимаешь, что просто не можешь в духе Станиславского отрезать: «Не верю!» Скорее, выдавишь: «Увы!»

В её жизни явило себя не только «смешение жанров», но прежде всего – «гремучий сплав мировоззрений», парадоксальный синтез почти что взаимоисключающих мироощущений. Грустное комедиантство, озорной трагизм, хулиганствующее философствование, эпатажное мудрствование…

И если рассматривать это парадоксальное «смешение» – то на ум приходит разве что… Леонид Енгибаров, известный как «грустный клоун с осенью в сердце». Да, сейчас бы его назвали «мим», «эксцентрик» или как-то ещё. Но ведь он манифестировал себя не привычным «артистом оригинального жанра» – не вполне определённого, а потому и представленного на неких нейтральных сценических подмостках. Нет, он выступал именно в цирке (!), причём в роли обычного ковёрного! И зритель не всегда готов увидеть пронзительные лирические интермедии – сама «личина» клоуна подразумевала накатанный односложно-плоский юмор: падения, кривляния, натужное выстраивание смешных рож… да исподтишка – трусливые пинки униформистам…

Но «взрывать» устоявшийся жанр изнутри, превращать его в нечто совсем иное, чуть ли в противоположное – это дорогого стоит! Вот, видимо, именно поэтому бесславные сонмы ушедших лицедеев манежа начисто забыты зрителями, а клоуна Енгибарова будут помнить ещё очень долго!

А ведь ценителям поэзии хорошо известны и верлибры Енгибарова! Ещё одна грань таланта, которая ждёт своей заслуженной оценки: «Наскучит уют, остынет любовь, и останется только Дорога, и где-то далеко впереди – надежда, что будет любовь, покой… *(…) но* это только мираж, без которого не бывает Дороги!»

Для привычного клоунско-шутовского колпака – несколько неожиданно, не правда ли?

* * *

…Если посмотреть на десяток «золотых кинолролей» Раневской (то бишь тех, что крепко въелись в память массовому зрителю), то трудно не заметить в них неприкрытый, практически феерически-буффонадный сарказм! Фаина Георгиевна не переигрывает, не превращает своих лирических героинь в некие «небывальщины», но… живописует их столь эмоционально яростно, что получается нещадный гротеск. И слово

«лирическая» – как-то само собой размывается из тщательно вылепленных образов. Зато просятся на язык другие определения: например, «фантасмагорическая» или «убийственно реалистическая» героиня. Из тех, чьё амплуа звучит в просторечии как что-то наподобие «Оборжаться, умереть – не встать!», Фаина Раневская – пожалуй, самая загадочно-грустная клоунесса кинематографа. Вначале трудно сдержать улыбку… а затем – долго не покидает осадок некой щемящей горечи.

Большинство её ролей – это «выпавшие» в некую иррациональную завихрённость взбалмошные дамы, плутающие по обычной жизни в собственных системах координат, взятых если и не из туманных снов, то точно «не от мира сего» – а посему вызывающие у зрителей странный спектр эмоций: от доброй снисходительной улыбки… до взрывов гомерического хохота. При этом неоднозначность подачи образа всё равно оставляет некоторое не совсем ожидаемое послевкусие, что трогательно горчит в восприятии и вызывает долгое странно-тягучее недоумение…

Может быть, станет более понятно, почему в воспоминаниях о Раневской не раз встречаем указания на её непримиримо-перманентный конфликт с режиссёром Юрием Завадским. Тут ведь не простое «расхождение характеров»! Думаю, что имело место особое «метафизическое рассогласование», глобальный мировоззренческий конфликт, практически – нестыковка основополагающих внутренних идей о сути и назначении Искусства, как такового. Раневская создана для надрывно-гротескных, «брехтовских» ролей. А Завадский, со своим строгим кондовым академизмом, просто не мог принять таких «забубонных завихрений»! Здесь слово «академизм» – уместнее поставить в кавычки. Не строгий канон и классическая школа, а скорее – набор выверенно-удобных масок… Что явно не для Раневской! Уж чего-чего, а пафосной дури, нагнетания выхолощенного «орфизма», картинного заламывания рук под дежурно-бутафорскую горючую слезу – та точно не допускала. Возможно – переболела этим в детстве?

Из дневников Раневской: «Приходил в гости к старшей сестре гимназист – читал ей стихи, флиртовал… *Чтение повергало меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами: «…так могла солгать лишь мать» (…)*Гимназист зарыдал, я была в экстазе… Теперь, к концу моей жизни, я не выношу актёров-«игральщиков».

Фаина Раневская никогда не являлась «игральщиком». Но она – также и не классическая актриса, не правильный «деятель

культуры», в привычном понимании. Она – скорее хулиганствующий субъект, беззлобно плюющий на все сложившиеся авторитеты и устоявшиеся унылые правила. Кроме тех, что ею приняты… и затем выстраданы на сценических подмостках и под светом кинософитов. Сыгранные ею персонажи – сама непосредственность… и в то же время – непредсказуемость. А к этому, до кучи – олицетворение определённой «чуждости» этому миру, нарочитое (где-то даже – капризное) неприятие навязанных строгих схем, бунт против них посредством наивной и незамутнённой детской «искристости».

Думаю, именно с этого фокуса исследовательского взгляда и возможно вплотную приблизиться к «прочувствованию» ещё одного пласта особенного таланта Раневской – её цветастых афоризмов, что ныне известны широким массам «потребителей культуры», (пожалуй – гораздо больше, чем старые добрые фильмы с участием Великой Актрисы… а уж тем более – театральные постановки).

Да, Раневская – признанный, непререкаемый «мастер эпизода». И могла играючи из куцей рольки вытянуть «столько всего», подать любой незамысловатый короткий эпизод с такой творческой экспрессией, что начисто затмевала напыщенных красавиц – главных героинь, вкупе с их правильными, прилизанными героями.

Но только… фильмы эти – уже давно стали триумфальным достоянием пыльных полок Госфильмофонда. Да от случая к случаю, сугубо под настроение – туманным объектом ностальгических вздохов бабушек, кучкующихся на свежевыкрашенных лавочках у обшарпанных подъездов. Увы, время неумолимо: новое поколение лелеет и взращивает в сознании своих собственных кумиров.

А прославленные фильмы из «давно минувших дней», с блистательной игрой актёров «старой школы» – как-то негласно претерпели высылку на периферию культурного процесса, куда-то за видимый горизонт «актуальных информационных поводов». Да, можно скачать в интернете, где-то – чем чёрт не шутит! – ещё застряли в продаже нераспроданные легальные дисковые копии, выпущенные ещё в прошлой или позапрошлой «культурной пятилетке». Но… сколько реальных показов, зрительских просмотров? Боюсь, что даже сама цифра уже мало кого волнует. И действительно: не блокбастер же! Кто хотел – уже раз по пять пересмотрел, умилился, вспомнил молодость. Кому не довелось, но вдруг резко прихотелось – пусть ищет ближайший сеанс в кинотеатре «Иллюзион»: как раз на «раз в полгода» можно твёрдо рассчитывать!

* * *

Зато вот афоризмы, искромётные «жизненные фразы» Раневской – неизменно затребованы! Уверен, что едва ли найдётся в России человек, кто бы их не слышал, кто бы не восхитился хоть раз их непривычной неординарностью да яркой красочной лаконичностью! *(«Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много – в Книгу о вкусной и здоровой пище»* – это тоже она!) Хотя зачастую афоризмы Фаины Раневской приводятся без авторства, как некий «впитавший суровую мудрость народа» фольклор.

При этом Актриса хорошо известна и своими «крепкими словцами» – сказанными «ёмко, к месту и по делу». Недавно в интернете даже стал распространяться любопытный текст: «Лучшие ругательства от Раневской – на все случаи жизни» (видимо, чтобы благодарный обыватель знал, кому обязан многим «цветастым» языковым конструкциям).

Но справедливости ради стоит признать, что гораздо более широко известны именно саркастические цитаты «от Фаины Раневской», выполненные на уровне «лингвистического фола». Кстати, нарочитая грубость и даже обсценная лексика – это ещё одна фирменная «примочка» актрисы Раневской. И так же, как в некоторых «неприличных анекдотах» просто невозможно заменить привычный «трехэтажный» на стыдливые эрзац-эвфемизмы (вся смысловая канва сразу же «посыплется», анекдот выйдет пресным и плоским), так же точно и у Раневской. Скажем, её известное упоминание «жопы» (в разных ракурсах!) – ну просто никак не заменить никакими пристойными «ягодицами».

А если проанализировать знаменитую, ставшую уже чуть ли не «классической» максиму Раневской: «Жизнь – это затяжной прыжок из п… в могилу!», то понимаешь, что «подобное» возможно выразить только так и никак иначе. Да, пусть «бумага не стерпит» – затретирует цензура и самоцензура… Да, пусть ликует и царствует Высокая и ещё более Высочайшая нравственность, гневно отвращающая от низкого и грубого!

Но – увы и ах! – именно такое, неприкрытое и непричёсанное, явно «непечатное» изречение отправится залихватски гулять в народ. И упорно не будет поддаваться никакой облагораживающей редактуре!

Причём сам народ, о котором заботливо пекутся гордые носители книжной нравственности, будет состоять в непоколебимой уверенности, что данная нестандартная философская аксиома – чистейшей воды фольклор: не имеющий конкретного автора, но выстраданный в натруженных недрах

коллективного бессознательного «широких масс трудящихся».

А кто знает настоящего автора – тот просто восторгается смелости и бесшабашности созданных словом образов. И с этим ничего не сделаешь: Раневская уверенно выступает в качестве озорного Арлекина, беззлобно-насмешливого персонажа классической итальянской комедии. Что, может, и не совсем «положительный», но явно и не «отрицательный». Зато вызывает широкую симпатию (и как указывается в «Википедии»: «должен вызывать у зрителя сочувствие к его смешным невзгодам и ребяческим горестям»).

* * *

…Особый разговор – о «грустных», порой даже трагических афоризмах, точнее – своеобразных «мыслях вслух» Фаины Раневской. Прочитал некоторые из них своим знакомым. Никто так и не «опознал» автора. Гадали-рядили: «поздний Шопенгауэр», «готическая школа», «саркастический постмодернизм», «что-то из французских мизантропов». Самый интересный ответ: «Вроде как я это встречал в чьих-то предсуицидальных записках». Оба-на! Приехали! Эпатажная хулиганствующая клоунесса – вдруг нежданно-негаданно предстаёт пронзительно скорбной философиней, отрицающей привычно оптимистичное отношение к жизни? Ну, а как ещё можно проинтерпретировать такие, к примеру, строки:

«Несчастной я стала в шесть лет. Гувернантка повела меня в приезжий «зверинец». *(…)* на столе стояло корыто, в нём плавали два крошечных дельфина. Вошли пьяные, шумные оборванцы и стали тыкать в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь. Сейчас мне 76 лет. Все 70 лет я этим мучаюсь!»

Кто-то, возможно, скажет: «Рисуется… Играет в трагизм, при этом – явно переигрывает!» Я бы с таким заявлением не согласился. Категорически. Возможно, тут настоятельно необходимо прочитать весь «грустный цикл» размышлений Фаины Георгиевны: о жизни, о судьбе, о человеческом предназначении… И тогда начинаешь понимать – нет, не переигрывает и не «педалирует». Скорее – многое скрывает, недоговаривает… Щадит своего потенциального читателя, слушателя. Поэтому – с помощью особого, «оптимистичного» сарказма – и старается несколько скрасить, «подсластить» горький вселенский трагизм человеческого одиночества. И выдаёт глубоко выстраданную авторскую иллюстрацию к бессмертному «Экклезиасту». Выраженного с полуулыбкой, но – горше. С

испитым до последней капли «томлением духа» в скрипучей карусели «суеты сует».

Раневской хочется сочувствовать… только непонятно: «грустный философ» – это её истинная натура, незыблемое природное качество или «жизненное амплуа»? Роль, с которой уже свыклась и смирилась? Есть расхожее суждение, что у «увлекающихся профессией» актёров – и не поймёшь: где кончается игра, личина, а где начинается жизнь, личность. Мол, порой они и для себя самих, в отсутствии зрителей, «заигрываются», внедряя «театральные кульбиты» в повседневную жизнь. Кто знает…

Думаю, Актриса всю жизнь прожила «между полюсов», мучительно пытаясь ответить сама себе на многие вопросы. «Жалею, что порвала дневники – там было всё, – писала о себе Раневская. – Почему я так поступила? Скромность или же сатанинская гордыня?»

Такие метания встречаем затем не раз и не два. Она это даже особенно и не скрывала. И даже обыгрывала с присущим ей патетическим сарказмом:

Раневскую о чем-то попросили и добавили: «Вы ведь добрый человек, не откажете*!»* «Во мне два человека, – ответила Фаина Георгиевна. – Добрый не может отказать, а второй – может. Сегодня как раз дежурит второй!»

Отсюда – и совершенно разные воспоминания о Раневской. Одни говорят о ней, как об очень культурной, начитанной особе, вдумчивом собеседнике… Другие – отмахиваются, как от вульгарной тётки с хамскими замашками – что могла сквернословить и скатываться в откровенное хулиганство.

И самое интересное – оба мнения справедливы. Хотя даже в парадоксальной совокупности – не отражали всей полноты личности Фаины Раневской.

* * *

Раневская выступала прямо-таки «генератором анекдотов». Многие фразы, которые стойко воспринимаются или как анекдоты, или как расхожие народные остроты, – в реальности принадлежат именно её искромётному творчеству.

Ну, например, знаменитое… Коллега по сценическому цеху пафосно изрекает: «Я так обожаю природу!» На что Фаина Георгиевна нарочито детально обсматривает ораторшу и выдаёт недоумённое: «И это после того, что она с тобой сделала?»

«Да, анекдот же!» – так и хочется вскрикнуть в сердцах.

Согласен, после Раневской – конечно же, да. Повторено-переповторено, даже использовано в разного рода литературных конструкциях. Но первоисточник, изначальный автор – многими уже, увы, подзабыт.

Или классическое: «Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и – глупыми, чтобы они могли любить мужчин». Первая реакция – ну, это расхожее утверждение… Чуть ли не к античным временам апеллируют. Сама мысль или что-то близкое к ней, выраженные через многоходовый логический трактат, – возможно. А вот так – наглядно, изящно и лаконично – это уже фирменный стиль Раневской. И ведь не возразишь, разве что – перефразируешь при случае, придав авторскому размышлению личину абстрактно-народной мудрости.

А вот так просто – оригинальная классификация семейных союзов (по Раневской). Жёстко, хлёстко (к тому же – и не очень-то «толерантно», а потому применимо исключительно для внутрироссийского пользования). Но мудро… и практически – исчерпывающе. Вполне заменит заунывную тетралогию интеллектуала-романиста:

«Союз глупого мужчины с глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает лёгкий флирт».

Философам остаётся только мечтать о подобной наглядности. Что Фаина Георгиевна «вполне себе сносно» могла определить парой ёмких предложений, то для правильного гения и прославленного «философского родоначальника» Иммануила Канта потребовало бы пару обстоятельно-содержательных глав.

* * *

«Семья человеку заменяет всё. Поэтому, прежде чем завести семью, необходимо как следует подумать, что для вас важнее: всё или семья?» — боюсь, что этот риторический вопрос Раневской не потеряет своей надрывной актуальности во все времена.

И на эту фразу Раневской следует обратить особое внимание. Потому как – не для красного словца сие сказано, а выстрадано, кровью сердца на гладь сознания вымыто.

Почему же, всё-таки, такое жуткое, порой нестерпимое одиночество? Популярность, харизма, узнаваемость на улицах, восторги публики, назойливые поклонники… и горькое чувство покинутости, скорбной оставленности миром?

И от черновых набросков, не «заготавливаемых впрок» для широкого читателя: «Ничто так не даёт понять и ощутить своего одиночества, как когда некому рассказать сон…» – выстраивается осознанный вектор к созданию Учения о смысле и назначении жизни, исключительно для личного потребления.

«Если бы я вела дневник, то каждый день записывала бы одну фразу: «Какая смертная тоска» – и всё!» – отмечает Фаина Раневская… и принимает – уже не в первый раз! – решение уничтожить очередные наброски к мемуарам. *(«*Я скорее дам себя распять, чем напишу книгу «Сама о себе». Не раз начинала вести дневник, но всегда уничтожала написанное…»).

А одиночество… Оно так и остаётся. Как и талант. Развивается, расширяется, захватывает все свободные закутки сознания… но не иссякает с годами.

И определяется Раневской как неизбежный «спутник славы». Отсюда и недоумённое восклицание, при созерцании очередного изобилия «цветов, записок, писем и открытое» от почитателей – после очередного спектакля: *«*Как много любви, а в аптеку сходить некому*!»*

При этом к самой этой «зрительской любви» – она, как минимум, относилась с явной настороженностью. «Любовь зрителя несёт в себе какую-то жестокость», – заявляет Раневская, попутно поясняя: «Однажды после спектакля, когда меня заставили играть «по требованию публики» очень больную, я раз и навсегда возненавидела «свою славу».

Со славой – это понятно. А что с одиночеством? Страдала ли она от него? Возможно. Может, это и стало причиной её тоски, о которой она не раз говорила. *(«Нет болезни мучительнее тоски!»*) Не жалуясь, а именно «проговариваясь невзначай».

Но, думаю, относилась к одиночеству философски, со свойственной мудрой женщине терпимостью. И даже создавала некие обоснования его «необходимости». Например, как вам такое: «Ребёнка с первого класса школы надо учить науке одиночества». Не думаю, что многие педагоги согласятся с данным тезисом Раневской. Юмора или сарказма – тоже как-то не просматривается. Скорее – жизненная позиция, выработанная за долгие годы. Принять, согласиться – это единственное, что ей оставалось.

И всё-таки… Одиночество в толпе, социальное – это ещё можно понять. Таланту трудно найти себя в толпе бездарностей. Но вот семья…

Сейчас можно услышать: «Ну, мол, не красавица же!» Мол, как можно с такими внешними данными надеяться на удачу в супружестве? Крайне спорный тезис. Базируется на том факте,

что все известные кинороли Раневской достались ей уже далеко не в юном возрасте. Согласен, «мачеха Золушки» – особых эротических симпатий не вызывает… (Это вообще её «бич», к которому, впрочем, сама актриса относилась сдержанно-философски: «Старая харя не стала моей трагедией – в 22 года я уже гримировалась старухой …и привыкла, и полюбила старух моих в ролях».)

Но, по воспоминаниям современников, в молодые годы Раневская была хороша собой. Вот оценка одного из критиков: «Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и ярко, тонкая фигурка…» Да и творческое амплуа у Раневской той поры звучало соответствующе: «героиня-кокетт». Для не особо сведущих в нюансах театральных терминов: так называли соперницу главной героини – традиционно скромной красавицы и умницы, положительной во всех отношениях. Её визави – конечно же, должна являть собой воплощённые хитрость и коварство… но и не меньшую красоту, привлекательность. А лучше превосходить «правильную героиню» – в яркости подачи себя, скажем, в броской фееричности… А иначе – где интрига? Как заставить главного героя – красавца без страха и упрёка – обратить на себя внимание?

…Но настоящий герой Раневской, если и возникал, то как-то не оттуда…и явно как-то «не туда». И приносил лишь горечь разочарования.

То первое в жизни свидание омрачила коварная, но более удачливая соперница (при полном попустительстве и даже – форменном свинстве «героя»): «Придя на свидание, я застала на указанном месте девочку, которая попросила меня удалиться, так как я уселась на скамью, где свидание у неё. *Вскоре появился и герой, нисколько не смутившийся при виде нас обеих. (…) Каждая из нас долго отстаивала свои права. Потом герой и соперница пошептались. После чего соперница подняла с земли несколько увесистых камней и стала в меня их кидать. Я заплакала и покинула поле боя…»*

Иногда очередной «герой» и сам оказывался ещё тем наглым хряком! Не знаешь – плакать ли или смеяться после такого горестного рассказа Фаины Раневской: «…мне девятнадцать, поступила я в провинциальную труппу – сразу же и влюбилась. Уж такой красавец был! (…) …однажды вдруг подходит и говорит шикарным своим баритоном: «Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете? Так ждите сегодня вечером: буду к вам в семь часов». Я (…) вина накупила, еды всякой, оделась, накрасилась – жду сижу. В семь нету, в восемь нету, в девятом часу приходит… Пьяный и с бабой! «Деточка, – говорит, – погуляйте где-нибудь

пару часиков, дорогая моя!» С тех пор не то что влюбляться – смотреть на них не могу: гады и мерзавцы!»

А то ведь и просто начинала брать за душу такая чёрная тоска и безнадёга – от грубости и пошлости потенциальных ухажёров… что потом в голове возникали довольно странные депрессивные ассоциации: «Я социальная психопатка. Комсомолка с веслом. Вы меня можете пощупать в метро. Это я там стою, полусклонясь, в купальной шапочке и медных трусиках (…) Меня отполировало такое количество лап, что даже великая проститутка Нана могла бы мне позавидовать».

А в конце концов – наступило неизбежное. И ветры безжалостного времени просто начисто выдули из потенциального «героя» всё его геройство. «Сегодня встретила «первую любовь». Шамкает вставными челюстями, а какая это была прелесть. Мы оба стеснялись нашей старости», – напишет Раневская… и даже читателю станет неловко (и даже – больно) от живописуемой в горьких строках ситуации…

* * *

…Когда выдаётся классическое повествование о славном жизненном пути заслуженного «имярек» – принято начинать с формальной биографии. Ну, традиция такая – что поделаешь? Может, психоаналитикам такой подход и кажется необходимым… Возможно, и биографам-любителям из библиотечных коллекторов – такой удобный штамп тоже на руку.

Хотя трудно представить, что именно детские переживания и всякого рода комплексы так уж непререкаемо, «железобетонно» довлеют над всей будущей жизнью. Как вариант – могут определять отдельные моменты, добавлять некоторые оттенки в пёструю жизненную палитру, оттенять обертонами насыщенную симфонию судьбы.

Но густо закрашивать грядущее какой-либо одной доминантной краской? Едва ли… И всё же, пусть и с некоторым опозданием, но последуем выверенному рецепту, рассмотрев сухую биографическую хронику.

Известная актриса театра и кино, автор популярных афоризмов и мемуаров Фаина Георгиевна Раневская родилась в провинциальном Таганроге, в позапрошлом веке (1896 год). При рождении – имела совсем другое «ФИО»: Фанни Гиршевна Фельдман. С началом актёрской карьеры – сменила «сразу всё» на более привычное для слуха. Почему? Вопрос риторический.

Тут разве что к месту привести пример её коллеги по

комическому жанру – актёра Семёна Фарады. Тот в метрике изначально записывался как «Семён Львович Фердман». Ну, а дальше – сухая цитата из вездесущей «Википедии»: «В 1971 году в титрах фильма «Вперёд, гвардейцы!», где Семён сыграл роль пионервожатого, решено было поменять «неблагозвучную», по мнению руководства картины, фамилию «Фердман» – на псевдоним «Фарада». Позже он официально сменил свою настоящую фамилию в гражданском паспорте и в других личных документах на фамилию Фарада».

Можно долго обсуждать, что же есть такое это «благозвучие-неблагозвучие», но факт остаётся фактом – многие деятели искусства обрели прописку в анналах Истории исключительно под литературными или артистическими псевдонимами, заменившими реальные родовые фамилии.

Дальше – снова «википедийская» цитата: «На момент рождения Фаины её отец, почётный член Ведомства учреждений Императрицы Марии, был владельцем фабрики сухих и масляных красок, нескольких домов, магазина строительных материалов и парохода «Святой Николай». Можно добавить: «купец первой гильдии, крупный мануфактурщик, староста Таганрогской хоральной синагоги, основатель приюта для престарелых евреев…и прочая, и прочая, и прочая…»

Собственно, о детстве – особо и нечего рассказать. Разве что отдельные воспоминания Раневской – как ранние судьбоносные всполохи, что в будущем будут влиять на её жизненный путь: «Актрисой себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала. И всё-таки отодвинула занавеску на зеркале – посмотреть, какая я в слезах». Или ещё такое: «Играть, представлять кого-либо из людей, мне знакомых, я стала лет с пяти и часто бывала наказана за эти показы…»

Деньги в семье есть, потому – хорошее домашнее воспитание: приходящие учителя обучали музыке, пению, иностранным языкам. Когда Фае исполнилось 14 лет – она начала заниматься в частной театральной студии Говберга, играть в любительских спектаклях. Тогда её родные воспринимали театральные увлечения дочери – как безобидные подростковые увлечения. Но увлечение – переросло в страсть. Девочка всерьёз захотела посвятить себя театру.

А ведь состоятельная семья, уважаемый отец… То, что дочь стала грезить о сценической карьере, – явно не одобрялось. Как справедливо отмечают многие исследователи, во времена имперского величия дореволюционной России профессия «актриски» считалась лишь чуть-чуть поприличнее, чем

куртизанки в борделе.

В возрасте 19 лет Фая Фельдман уезжает в Москву, практически порывая отношения с семьёй. Мать будущей Великой Актрисы ещё какое-то время, до эмиграции в Прагу из охваченной революционными беспорядками России, в тайне от мужа помогала дочери денежными переводами. Впрочем, недолго.

Бедствующая в постреволюционной Москве Раневская попробовала попросить помощи у одного из приятелей своего отца. Тот ответил весьма изысканно, чтобы не обижать юное творческое дарование: «…дать дочери Фельдмана мало – я не могу. А много – у меня уже нет…» Так что апеллировать к достатку семьи – не получалось. Приходилось надеяться только на себя. Благо, что Москва принесла не только финансовые стеснения, но и порадовала новыми знакомствами: с Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом, Владимиром Маяковским, Василием Качаловым.

Забегая вперёд, хочется сказать, что чуть позднее состоялось и судьбоносное знакомство с Анной Ахматовой (трепетную дружбу с которой Раневская пронесла через всю жизнь): «Любила, восхищаюсь Ахматовой. Стихи её смолоду вошли в состав моей крови».

Но вот только на театральном поприще – как-то всё не заладилось. В 1915 году юная Фаина выступает в подмосковной Малаховке, в местном «Дачном театре». Играет всего одну маленькую роль, да и то без слов – артистки цирка Брике, в пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощёчины». Успеха тогда – ни она, ни труппа, ни сам спектакль особого не имели. Мечта о сцене упорно отказывалась сбываться.

А ведь вокруг – столица, со всеми её соблазнами. Может, уйти в завсегдатаи богемных сборищ, стать статистом-наблюдателем Серебряного века русской литературы? А потом – найти в литературных салонах «удобного» мужа – да и засесть в Москве-матушке навсегда? А там, глядишь, и ангажементом помогут молодой замужней даме, если не станет проявлять излишних комплексов?

Возможно, подавляющее большинство «подающих артистические надежды» молодых девушек-провинциалок так бы и сделало. Но только не Раневская!

Главное – играть! И, распрощавшись на длительное время со звёздными знакомствами, Раневская отправляется на задворки бывшей Империи – играть, играть!

Дальше, в течение 15 лет – работа в самых различных местных драматических театрах: Керчь, Феодосия, Ростов-на-Дону, Баку, Архангельск, Смоленск, Сталинград… а ещё, до кучи

– Передвижной «Первый советский театр» (этот – так вообще везде колесил).

Но мечта о Москве не забыта. В 1924 году Фаина Раневская даже ненадолго возвращается в объятья столичной богемы, некоторое время пытается играть в труппе Театра Московского отдела народного образования. Но… тогда что-то «не срослось»! Пришлось снова на время «отступить» в привычную провинцию. Чтобы уже через несколько лет, в 1931-м, прочно обосноваться на столичном театральном Олимпе. Впереди будут престижные сценические площадки: Камерный театр, Центральный театр Красной Армии, Театр драмы (ныне им. Маяковского), Театр им. А. С. Пушкина… и Театр им. Моссовета, в котором она проработала в общей сложности свыше четверти века.

* * *

То, что в жизни Раневской большое место занимали музыка и литература, – можно даже особо не подчёркивать. Во-первых, в детстве, при домашнем-то воспитании, она серьёзно обучалась музыке, пению, литературе. Во-вторых, профессия актрисы – вроде сама собой обязывает (точнее – раньше, в недалёком совсем прошлом – точно обязывала!) быть искушённой в этих вопросах. Ну, и в-третьих, Раневская считала музыку и литературу «светлыми лучиками» в тёмном царстве «сознательных строителей коммунизма».

Интересны ранние воспоминания Раневской о встречах со Скрябиным: «Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть. И тогда я услыхала и увидела перед собой гения. Наверное, его концерт втянул, втолкнул мою душу в музыку. И стала она страстью моей долгой жизни».

Ещё одна «страсть долгой жизни» – Высокая Литература: Лев Толстой, Анна Ахматова… Пушкин, Чехов (именно о них она будет «с придыханием» писать в своих дневниках).

Особая связь – с Чеховым. Не только сам звучный псевдоним «Раневская» взят по фамилии одной из чеховских героинь. С Антоном Павловичем связаны и яркие детские воспоминания: «Говорят, любовь приходит с молоком матери. У меня пришла со «слезами матери». Мне чётко видится мать, обычно тихая, сдержанная, – она громко плачет. Бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку: плачет в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери – газета: «…вчера скончался А. П. Чехов». Подобное «явление любви» – через слёзы, – возможно, многое объясняет в мироощущении Великой Актрисы. Ведь

Чехова можно воспринимать не просто как «признанного мастера прозы», но и как создателя особого «паттерна» человеческого существования.

То ли подсознательно, то ли вполне осознанно – Раневская «примеряла на себя» судьбинушки чеховских персонажей. И тут так и хочется привести детские воспоминания Раневской о смерти Чехова полностью, не делая купюр. Ведь со своим будущим одиночеством Раневская также познакомилась через него: «Бегу искать книгу Чехова, мне попалась «Скучная история». Прочитала, на этом закончилось моё детство. Я поняла всё об одиночестве человека. Это отравило моё детство».

По сути, «Скучная история» – это не только история главного героя, коего так старательно выписывает от первого лица Антон Павлович, но… и жизненная драма самой Фаины Раневской. Горестное признание чеховского лирического героя: «Это моё имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку. Насколько блестяще и красиво моё имя, настолько тускл и безобразен я сам!» – не раз пыталась перефразировать о себе и Раневская. Видимо, ей трудно было избавиться от навязчивых параллелей. Главный герой (профессор Николай Степанович) в этой повести Чехова – человек уважаемый, знаменитый, но… каждый его прожитый день безлик, бесцельно повторяет предыдущие. Близких (не формально, а действительно – по духу) у него нет, смысл жизни потерян… и «доживает» он её по инерции. У читателя складывается ощущение, что несмотря на свою «именитость» и заслуги – чеховский персонаж являет собой бесполезного, скучного даже самому себе человека. Возможно, «призрак Николая Степановича» терзал Раневскую до конца дней. Потому как она частенько выдаёт о себе фразы, которыми, при желании, можно резюмировать чеховскую повесть: «Я как старая пальма на вокзале – никому не нужна, а выбросить жалко».

А вот ещё: «День кончился. Еще один напрасно прожитый день никому не нужной моей жизни» – чем не наглядная иллюстрация к «Скучной истории»?

Трагизм существования «маленького» человека – иногда называют одной из центральных тем в творчестве Антона Павловича Чехова. Мол, не может человек «прыгнуть выше головы», и потому его удел – смириться с унылой долей. В дневниках Раневской часто встречаем отголоски чеховских драм: «Ничего, кроме отчаянья от невозможности что-либо изменить в моей судьбе».

Нисколько не сомневаюсь, что молодая Раневская очень органично смотрелась в чеховских постановках. Именно тогда, в 20-е годы, она играла во многих его пьесах («Вишнёвый сад», «Три

сестры», «Чайка», «Дядя Ваня», «Иванов», «Свадьба», «Юбилей»). Дальше – капризные режиссёры «разлучили» её с Антоном Павловичем (разве что – в Театре Советской Армии, в конце тридцатых годов, досталась роль Щукиной в «Беззащитном существе»). Но внутренняя связь – не побоюсь громкого словосочетания: «безусловно трагическая» – осталась до самого ухода Актрисы из этого «бессмысленного» мира.

А музыка и литература – одни из тех таинственных нитей, что крепко стягивали её (до поры) с земным существованием. О которых она отзывалась неизменно восторженно: «Старость – это просто свинство. (…) Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!»

* * *

Иногда даже странно становится: откуда у Фаины Раневской столько злости и неудовлетворённости собой? Какие нужны основания, чтобы отписать в сердцах: «Ахматова мне говорила: «Вы великая актриса». Ну да, я великая артистка, и поэтому я ничего не играю, меня надо сдать в музей. Я не великая артистка, а великая жопа».

Да, думаю нелегко бывало сгенерировать комплимент Фаине Георгиевне – ведь она не хотела принимать заслуженной похвалы даже от самой Ахматовой! Что уж там «простому смертному»!

Думаю, что неправы будут те, кто увидят здесь обычную «рисовку» или мазохистские психологические самобичевания. Скорее – вечная неудовлетворённость: собой, миром, реализацией дарованного богом таланта.

Сомнения в собственном таланте? Не без того… Но по-настоящему понять их может помочь следующая фраза Раневской: «Талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности».

Отсюда сухая, без эмоций, констатация на исходе лет: «Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я недо… И в театре тоже. Кладбище несыгранных ролей».

* * *

И снова хочется вернуться к Чехову. Насколько интересно, насыщенно смотрелась Раневская в короткометражном фильме

«Драма», снятому по рассказу Антона Павловича! Проницательный зритель увидит не просто смешную побасенку про глупую бабёнку-графоманку, читающую свою занудную пьеску! Раневская, думаю, смотрела на диапазон роли шире. Она сыграла не только надоедливую авторшу бездарных опусов, а отчасти – саму себя… а также, в совокупности, многих чеховских героев: наделённых возможностями, талантами, но нереализовавшихся, задушенных обывательской жизнью и беспристрастными обстоятельствами. Таких, про которых написала в дневниках – с рефлексией на саму себя: «Я, в силу отпущенного мне дарования, пропищала как комар».

Талант, потенциал, харизма, сила, мощь, напор, ощущение собственной миссии – и пресловутое «кладбище» неполученных ролей! Тему нереализованности, недовостребованности (или даже – «совсем невостребованности») она ещё не раз поднимет в мемуарах: «Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно, процентов на восемьдесят, нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда!»

…«Дамы с собачками» и без оных – это опять прямая отсылка к чеховскому мироощущению…

Или, если угодно, вот более наглядная рефлексия на тему смысла земного существования: «Про курицу, которую пришлось выбросить из-за того, что нерадивая домработница сварила её со всеми внутренностями, Фаина Георгиевна грустно сказала: «Но ведь для чего-то она родилась!»

Уверен, подобный эпизод – это не мелкая хохмочка, а, если угодно – дзенский коан (специальное парадоксальное утверждение, размышляя над смысловыми безднами которого адепт дзен-буддизма постигает некую мистическую сущность вещей).

Хотя, если уж по большому счёту, то и «хохма» – в древнем учении Каббалы переводится как «Мудрость» и олицетворяет собой один из первичных столпов, держащих на себе всю Вселенную.

…Горький сарказм дневниковых записей Раневской можно попытаться объяснить и ещё одним чеховским символом. У Антона Павловича есть интересный отрывок – про то, что «надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком … и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».

Пожалуй, Раневская, с неизменным горьковатым подтекстом её крылатых выражений и разухабистых шуточек, могла (при своей-то любви к Чехову!) вполне ощущать себя кем-то вроде такого «человека с молоточком». Тем более что многие современники отмечали, что главный талант Раневской – принимать и чувствовать страдания других.

То, что она писала про «дельфина с кровавыми глазами», не дававшего спокойно спать 70 лет, – я уже приводил выше. Но вот интересны и такие записи: «Как жестоко наказал меня «создатель» – дал мне чувство сострадания. Сейчас в газете прочитала, что после недавнего землетрясения в Италии, после гибели тысяч жизней, случилась новая трагедия: снежная буря. Позвонила Н.И., рассказала ей о трагедии в Южной Италии и моём отчаянии. Она в ответ стала говорить об успехах своей книги!»

* * *

Отношения с музыкой, живописью, литературой – понятные: восторженные, на высоком пиетете. А вот с коллегами (которые, по идее, должны являться «преданными служителями», жрецами всех этих изящных искусств) – крайне непростые. Возмож– но, одна из главных причин: Раневская – несгибаемая максималистка. Не выносит фальши, а что ещё хуже (о, ужас!) – требует этого и от других. «Ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, и вся моя долгая жизнь в театре – Голгофа», – не раз жалуется Раневская.

К тому же – какие могут быть отношения с теми, кому даны едкие, но меткие определения, моментально «расходившиеся кругами» в актёрских байках: «У этой актрисы жопа висит и болтается, как сумка у гусара» или «У неё голос – будто в цинковое ведро ссыт».

Да даже если и «поприличнее» случалось наблюдение: «У неё не лицо, а копыто», – выраженное вслух, оно всё равно могло навсегда испортить любые отношения. Это когда о «бездарностях». Но и с теми, с кем дружила, кого уважала за профессионализм, – могла также быть «нетактична». Не все готовы спокойно воспринять её неожиданный юмор в невинных дружеских подначках.

Знаменитый драматург Виктор Розов похвастался: мол, жаль не присутствовали на премьере моей последней пьесы. И добавил картинно: «Люди у касс устроили форменное побоище!»

– *И как? Удалось им получить деньги обратно?* – тут же

отозвалась Раневская… немало не заботясь о чужом творческом самолюбии (а им, в той или иной степени, поражены все деятели искусства!). И которое своей «невинной» шуткой она буквально втоптала в асфальт.

Зная, что Раневская не склонна к экивокам и будничной дипломатичности, коллеги побаиваются общения с ней – никому не хочется стать антигероем «свежих» театральных анекдотов. Зная, что за словом в карман Раневская не лезет и что «палец в рот ей не клади», – мало кто рискует и «пикировать» с ней, соревноваться в обмене колкостями. Типичная иллюстрация «разговора при свидетелях: дежурный комплимент от «Великой старухи» («Вы по-прежнему молоды и прекрасно выглядите!») сказан со столь узнаваемой улыбкой-ухмылочкой, что собеседнице просто неймётся выдать в ответ какую-нибудь колкость. Что та и делает, правда ограничивая свою тираду стандартной, штампованной заготовкой: «А я вот не могу ответить вам таким же комплиментом!» На что тут же получает от Раневской припечатывающее: «А вы бы, как и я, – соврали!»

Думаю, многие (обстоятельно поразмышляв!) начинали откровенно избегать столь «опасную» собеседницу. Ну, а как ещё – если той претит политес, да к тому же может в любой момент внезапно начать «резать правду-матку».

Думаю, здесь достаточно всего одной, но наглядной иллюстрации. Ответственный работник советской литературы, поэт и функционер, на бегу поздоровавшись в Доме актёра, чисто формально поинтересовался «свысока»: как, мол, ваши дела, Фаина Георгиевна? Бедный… Привык ведь к дежурному «хорошо» или «ничего»! (Сейчас, порой, сразу спрашивают: «А как ваше «ничего»?» – подчёркивая, что другой ответ как-то и не особо ожидается.)

Реакция Раневской – как всегда непредсказуемая! – соответствующая: проучить «формалиста». Могла, по обыкновению – просто «послать в задницу». Но в этот раз – устроила мини-спектакль. Вцепилась в «неравнодушного» и, не отпуская, стала «картинно благодарить»: «Очень хорошо, что вы спросили. Хоть кому-то интересно, как я живу! Давайте отойдём в сторонку, и я вам с удовольствием обо всём расскажу… Я вас задержу ненадолго: минут сорок, не больше!» Визави – что есть сил вырываться: мол, на заседание опаздываю, нет времени…А затем – спасаться бегством. «Зачем же тогда спрашивать, как я живу?! – назидательно прокричала ему вслед Раневская своим фирменным «баском».

Резонно… И главное – окружающие, невольные свидетели поистине театральной сцены, услышали! А «ответственный

литсотрудник», уверен, стал с этого дня обходить Раневскую окольными путями.

* * *

Сейчас, когда из жизни ушли уже практически все современники Фаины Раневской, можно встретить предположения-утверждения о «желчной, злой на весь свет старухе». Думаю, это далеко от истины. Если вчитаться в её строки: «Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера!» – то понимаешь, что подобные обвинения, как минимум, не до конца убедительны.

Хорошо, соглашусь, – возможно, что бывала и злой: «наплывами». В моменте, будучи оскорблённой – не лично, а именно «в лучших чувствах и чаяниях», – тогда… вполне!

Хотя и это объяснимо. Когда читаешь: «В театр хожу, как в мусоропровод: фальшь, *жестокость, лицемерие, ни одного честного слова, ни одного честного глаза! Карьеризм, подлость, алчные старухи!»* – то понимаешь, что дошедшие до нас остроты Раневской – это всего лишь малая капля негодования в том море гнева, какое она бы могла излить. А в основном, большей частью – терпела. Знала, что попытаются «изжить», что не дадут ролей («Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки…»), что будут плести интриги, шушукаться за спиной, писать доносы и кляузы.

«Главное в том, чтоб себя сдерживать. (…) С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней», – нещадно бичевала себя Актриса в сохранившихся записях. Сдерживалась, терпела… а поэтому – выдавала саркастические замечания, только когда «плотину прорывало». Но если это случалось – мало никому уже не казалось. Доставалось всем. В том числе и начальству…

* * *

Как тут опять не вспомнить Юрия Завадского… Многолетний руководитель, по должности выполнявший и роль театрального наставника… Отдельная тема в жизни Фаины Раневской. Вечный оппонент – и не только в художественном плане, – которого Актриса не раз метко «прикладывала» в своих язвительных

репликах. Увы, нынешнее молодое поколение знает Завадского исключительно как «объекта насмешек» Раневской. Тиран, мол, «заадминистрировавшийся»! Творчески несостоятельный – можно сказать «импотент в художественном плане»! Ну, а как можно проинтерпретировать ставший широко известным эпизод из будничных репетиций театра, в труппе которого играла Раневская?

Дословно: «Однажды Юрий Завадский крикнул в запале Раневской: «Вы своей игрой сожрали весь мой режиссерский замысел!» – «То-то у меня ощущение, что я наелась дерьма!» – парировала «Великая старуха». Симпатии стороннего наблюдателя – явно на стороне Раневской. Завадский предстаёт этаким беспробудным бездарем, что просто завидует её таланту.

Но тут не всё так просто, как кажется на первый взгляд. В своих бойких шутках Фаина Георгиевна широко, даже размашисто, применяла гиперболу, сгущала краски… и от души окатывала своих визави из ушата остроумия. Не факт, что от злости… скорее – просто от особого (наперекор!) восприятия мира. Или из идейных соображений. Или из бескорыстной любви к меткому, острому слову… Даже нет смысла гадать. Хотя народная пословица «Ради красного словца – не пожалею и отца» – создана же отнюдь не случайно!

Юрий Александрович Завадский. Известный актёр… и традиционно – любимец женщин. По воспоминаниям современников (особенно – современниц): был просто «необычайно хорош собой». В знаменитой постановке Вахтангова «Принцесса Турандот» – он неизменно играл красавчика Калафа. По утверждению многих коллег – сердцеед, окружённый толпами восторженных воздыхательниц. Знатоки театральных нравов Москвы того времени рассказывали, что у дверей его квартиры спозаранку разворачивались нешуточные баталии: дежурившие в подъезде поклонницы спорили, кто первым предложит «Юрочке» только что купленные свежие булочки – к утреннему чаю…

Марина Цветаева посвятила Завадскому целый цикл стихов, «Комедьянт». Да и в жёнах у него последовательно ходили первые красавицы Советского Союза: прославленная актриса Вера Марецкая, непревзойдённая балерина Галина Уланова…

Как театральный режиссёр стал известен в столице с 1924 года – в тот момент Раневская ещё заканчивала свои выступления в небольшом «Передвижном Первом советском театре» и готовилась к перебазированию в Баку, в местный «Рабочий театр».

…Да, не похож как-то яркий образ театрального «баловня судьбы» – на скучного администратора, лишь по воле случая

дорвавшегося «порулить театром».

Авторитет Юрия Александровича – непререкаем. Получил «заоблачное» звание Народного артиста СССР в 1948 году, будучи к этому времени уже аж трижды лауреатом Сталинской премии! В театре его практически боготворили… Но не Раневская. Ведь когда Завадский стал «народным» – она уже год, как сама гордо носила звание «заслуженной». Да, её «три Сталинских» – ещё впереди. Но, нужно сказать, ждать их оставалось не так уж и долго. Все три она получит в течение последующих трёх лет. Но зато за плечами – целых 17 фильмов в активе. Для того времени – просто неимоверное количество! Все самые «узнаваемые» роли – уже сыграны. Именно Раневскую узнают на улице, а открытки с её изображением продают в киосках… а Завадского – увы! Он ведь в кинематографе не снимается. А как театрального актёра – ну да, москвичи, те, кто «в теме», по большей части помнят и любят. Но… так ли уж по многим городам и весям красавец Завадский сумел проехаться с выездными гастролями?

…Раневская спорит с ним безжалостно. Тот отвечает с не меньшим ожесточением. Две глыбы, две скалы. Громада – на громаду. За Завадским – непререкаемый «административный ресурс». Никто из труппы не хочет получить «разнос», но зато все хотят получить роли. За Раневской – личное обаяние, недюжинный интеллект вкупе с непревзойдённым чувством юмора… и смех. Обычный смех, который порой разит гораздо больнее начальственных полномочий.

Типичный пример «позиционной творческой войны». Раневская методично, раз от разу опаздывала на репетиции. Вряд ли кому-то ещё это так сходило бы с рук. В какой-то момент Завадскому такое положение дел надоело… да и надо же продемонстрировать, «кто в доме хозяин»! Велел труппе: «Если хоть ещё раз опоздает – то просто Раневскую не замечать!» Бойкот, мол, объявим! Сильный ход…Ну, и что поделать – все покорно согласились: с начальством не поспоришь, ему виднее!

Далее – лучше прямой цитатой:

«Вбегает, запыхавшись, на репетицию Фаина Георгиевна:

– *Здравствуйте!*

Все молчат.

– *Здравствуйте!*

Никто не обращает внимания. Она в третий раз:

– *Здравствуйте!*

Опять та же реакция.

– *Ах, нет никого?!* Ну, тогда пойду поссу*!»*

Занавес!.. Не просто смех, но предполагаю – надмирный хохот разрушил все условные бойкоты в мановение ока. И где

теперь этот хвалёный «административный ресурс»?

Думаю, что «душка» Завадский – который привык, что все женщины (поголовно, вне зависимости от возраста) смотрят на него с плохо скрываемым обожанием – стал крайне обескуражен таким к себе отношением. Вроде бы, на первый взгляд, безобидные предположения Раневской, намертво приклеившиеся к прославленному театральному деятелю: «Завадский родился не в рубашке, а в енотовой шубе!» или «Завадскому дают награды не по заслугам, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня»! Но ведь особо и не «полютуешь»: завистники (да и не только!) сразу же обвинят в отсутствии чувства юмора, а того и гляди – просто в «недалёкости».

Хотя со стороны Фаины Раневской – такая позиция является не более, чем способом активной защиты. Она не держала зла. И неслучайно на смерть Завадского написала следующие строки: «Я знала его всю жизнь *(…)* И я грущу, тоскую о нём, мне жаль, что он ушёл раньше меня. Я чувствую свою вину: ведь я так часто подшучивала над ним». Здесь ключевое слово: «подшучивала», кто бы чего ни говорил!

Хотя это вовсе не значит, что все шутки Раневской несли некую беззубую, ванильно-ироничную «доброту». Нет, порой это довольно желчные, обидные остроты. Мало кто желал бы получить их на свой счёт… И опять сама что это? Старческая злость и традиционная зависть к более молодым? Недовольное брюзжание неудачницы, не получавшей достаточного количества ролей – ни в кино, ни в театре? (Порой именно так пытаются проинтерпретировать многие словесные «перлы» Раневской её нынешние недоброжелатели.)

Или, всё же, некий праведный гнев, попытка хоть что-то изменить в «паскудной» реальности, что её окружала?

«В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части», – напишет Раневская в воспоминаниях. И если внимательно прислушаться к самой Актрисе, то увидим, насколько её раздражал – именно «в принципе», как поругание вечной идеи Высокого Искусства – непрофессионализм околотворческих приспособленцев: «Сегодняшний театр – торговая точка. Контора спектаклей… Это не театр, а дачный сортир. Так тошно кончать свою жизнь в сортире!»

И, если рассматривать совсем пристально, понимаешь, что «сортирные» определения возникают не из каких-то личных отношений, не из-за того, что «что-то сложилось или нет», а именно по профессиональному признаку. Раневская любила всё мерить по самому высшему, «по гамбургскому» счёту. Никаких

поблажек – ни для себя, ни для коллег.

«Ведь знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому…»

…Думаю, что и своим непредсказуемым чувством юмора Раневская также озадачивала коллег. Потому как не секрет – и в артистической, и в литературной среде существует целый пласт стареющих «остроумцев» обоего пола, расхаживающих по разного рода презентациям и творческим мероприятиям с заранее заготовленным набором дежурных шуточек и «не раз испытанных» на практике актёрских баек. Первое впечатление человек производит довольно сносное… ну, а дальше – когда при третьей встрече вынужден в третий раз выслушивать одну и ту же остроту, даже выраженную с одинаковой интонацией! Хочется просто ругаться матом… как, впрочем, не раз это делала и сама Фаина Раневская!

«Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно». И всё – по максимуму! На сцене – проживать жизнь, а в жизни – чувствовать себя как на сцене, под пытливым взглядом заклятых приятелей и просто коллег по театральному цеху. Ведь любое её действие – завтра может быть разнесено злопыхателями и любопытствующими по всем артистическим центрам необъятной страны Советов. Не давать повода! Столько историй о Раневской сохранено и описано её современниками… но вот не нашёл ни одной, где бы она представала в неприглядном свете, где бы её обвиняли в подлости, в низменной мести… да и вообще – в обычном злонамерении! Представляли в парадоксальном свете, в виде непредсказуемой, не от мира сего – можно найти, при желании.

А при этом положительного – зафиксировано пруд пруди. Фаина Георгиевна мастерски, с изящным совершенством бичует своих идейных оппонентов, мягко подтрунивает над приятелями, с кем была дружна… и резко, безапелляционно «посылает в жопу» всех тех, кто пытается бесцеремонно влезть в сложный процесс её отношений с миром.

И жёсткий «отлуп», и даже пресловутая «жопа» (заметьте – не «задница» даже, и уж тем более не разные завуалированные эвфемизмы) – стали своеобразной «визитной карточкой» Актрисы-философа. Её «шуточки на грани фола» никогда не считались признаком вульгарности или грубости, а наоборот: признаком утончённого остроумия, игрой интеллекта, и – для посвящённых! – определённой «фигой в кармане», выражаемой окружающей косной действительности.

«– *Почему, Фаина Георгиевна, вы не ставите и свою подпись под этой пьесой? Вы же е*ё почти заново переписали.

– *А меня это устраивает. Я играю* роль яиц: участвую, но не вхожу».

Возможно, кто-то из записных ханжей может тут прокомментировать: «Фу, быдлятина! Какая пошлость!» И понимаешь, что «ещё совсем чуть-чуть» – и пришлось бы, скрепя сердце, согласиться. Но Раневская имела удивительную особенность: «не перегибать палку», останавливаться на краю, доводить «почти до» открытой неприличности – и тут же отскакивать в сторону, предоставляя слушателям самим «докручивать» возможные смысловые нюансы… и катиться кубарем в яму «неприличных» ассоциаций.

Ну, например, почти безобидное: «Самая ненавистная болезнь – геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать!» Или, ещё более невинное, но не с меньшей житейской прозорливостью, тоже на медицинскую тему: «Как считаете, *медицина делает успехи?* Ответ Раневской: «А как же! В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь – достаточно язык показать!»

* * *

Думаю, что сложившийся имидж «безбашенной хулиганки» – в некотором смысле «охранял» Раневскую в жизни. Она могла себе позволить публично сказать нечто, за что не просто «обычного работягу», но и «заслуженного» культурного работника могли начать довольно ощутимо «прессовать». Речь идёт о довольно «смелых» для того времени шуточках на политические темы. Тем более что разговор не об обычном пересказывании расхожих анекдотов (а за это тоже можно было попасть под репрессивный аппарат недремлющей Государственной машины!), а именно о генерировании совершенно новых смыслов и образов, кои выглядели весьма «обидными» для действующей власти – под определённым углом зрения.

Ну, например, как вам такой пассаж:

«– Фаина Георгиевна, вы видели памятник Марксу? – спросил кто-то у Раневской.

– *Вы имеете в виду этот холодильник с бородой, что поставили напротив Большого театра? – уточнила Раневская».*

Зная реалии тех лет, понимаешь, что «рисковала» не только сама Фаина Георгиевна, но и тот не оставшийся в Истории аноним, кто задал подобный вопрос. Так что, в его тщедушных интересах (чтобы обеспечить себе будущее спокойствие) – стояла настоятельная необходимость банально донести на Раневскую.

Боялась ли она этого? Или что… настолько доверяла своим собеседникам?

Ну, раз эти её фразочки дошли до наших дней (а в те времена – широко расходились в качестве «опасных» баек) – значит, как минимум не все её знакомые умели держать язык за зубами. И потому можно услышать крайне смелую, на грани фола, «историческую ретроспекцию» Раневской: «Знаете, когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности». Тут уже явное нарушение негласного табу, саркастический подрыв самих устоев, незыблемых на тот момент (Советский Союз всё-таки!) – безоглядное высмеивание «нашего всего»!

И что же? Подвергалась ли на обструкции? Думаю, когда откроют все архивы спецслужб – мы узнаем и об этом. Но отдельные отголоски можно найти даже и в столь малом – несоизмеримо с талантом! – количестве ролей в театре и в кино…

Несомненно, находились и плюсы. Личина саркастического, даже где-то злого Арлекина – позволяла ей выражать вслух такое, что мало кто мог себе позволить. «Мели, Емеля – твоя неделя!» Возможно, ей даже негласно присваивалось звание этакого «придворного шута» – «не совсем в себе» клоунессы, которой дозволялось отпускать умилительно смелые шуточки на злобу дня.

Неслучайно так любят вспоминать широко известный (и уже изрядно поднадоевший всем!) эпизод с «дорогим Леонидом Ильичом». Генсек Брежнев, вручая Раневской в Кремле орден Ленина (высший орден в СССР!) стал подтрунивать над ней, цитируя сакраментальную фразу «Муля, не нервируй меня!» Даже не важно, что именно ответила ему Раневская, включившись в эту экспромт-игру. Главное тут – вопрос: генсек над всеми награждаемыми подобным образом подшучивал?

Насколько помню – все эти сюжеты с кремлёвскими чествованиями передовиков, силовиков, артистов и космонавтов проходили при неизменно напряжённо-патетических лицах партийной верхушки. А тут… Ну, можно понять: Фаина Раневская не просто «выбивалась» (отбиваясь!) из общего ряда. Она олицетворяла собой «даму-праздник», улучшающую настроение на расстоянии. (Хотя, при непосредственном близстоянии – уже могло случиться не только ухудшение настроения, но и уязвление самолюбия, умаление чувства собственного величия – и прочие непредвиденные оказии, что зависело от творческого запала Фаины Георгиевны в данный конкретный момент.)

…Тогда, кстати, Раневская ненавязчиво предложила всесильному генсеку выбрать самому, кем считать себя: глупым

мальчишкой или отвязным хулиганом. Думаю, что не особо расстроила старика.

Впрочем, и с другими «сильными мира сего» Фаина Раневская обращалась без особого трепета. Председатель Комитета по телевидению и радиовещанию СССР Сергей Лапин как-то после одного из спектаклей втиснулся в гримёрку Раневской и стал выражать неприкрытые восторги по поводу её игры. «Ну, в чём я могу вас ещё увидеть, Фаина Георгиевна?» – традиционный комплимент, недвусмысленное высказывание особого расположения к таланту.

Раневской бы шаблонно-картинно зардеться, замахать руками: «Ну что вы, что вы!» А потом, смущаясь и подкашливая, перечислить все свои роли, где её «можно увидеть»… И дальше начинать решать свои насущные проблемы (стесняясь, отводя глаза – но при этом методично загибая пальцы под счёт своих желаний). Но «Великая старуха» лишь сухо отрезала: «В гробу!»

И тут – не чёрный юмор. А скорее – позиция. Классическое, булгаковское: «Никогда и ничего не просите! …и в особенности у тех, кто сильнее вас».

…Ну а раз Фаина Георгиевна смело «прикладывала» самих вождей мирового пролетариата, Ленина и Маркса, то уж задувать «светочи» поменьше – просто сам бог велел!

Чего стоит, к примеру, её коронное «Пионэры, идите в жопу!» Тут ведь можно налететь и на «аморалку» – подрастающее поколение Юных Ленинцев, как-никак. Партийная смена, надёжа и опора. Да и потом: как насчёт стандартных милицейских протоколов? Сквернословие… да в общественном месте, да с несовершеннолетними! Вполне так себе тянет на «хулиганство»!

Или взять тему пресловутой «дружбы народов», что являлась крайне болезненной, а потому – свято оберегаемой от неосторожных слов и суждений. Как минимум – на официальном уровне. Ну, государственный приоритет во внутренней политике… и всё такое.

Но вот именно этому «всему такому» Раневская давала своё, избавленное от фальши и демагогии истолкование. Так родилась фраза: «Я говорила долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов». Ну, а после подобного обобщения – шутки «от Раневской» на тему национальности уже не звучали столь обидными. Скорее воспринимались как меткие наблюдения. И потому про русских можно было услышать: «На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый – не может». И в те времена это ещё никто не называл «русофобией» или неким «разжиганием». Потому что и про евреев у Раневской всегда припасалось что-нибудь «этакое». Ну,

например: «Еврей ест курицу, когда он болен или когда курица больна». И это тогда вовсе не считалось антисемитизмом…

* * *

Раз уж заговорили об «еврействе». Одним фактом своего существования Фанни Гиршевна Фельдман (Раневская) опровергала на корню многие расхожие мифы и клише.

Национальная черта – «скупость», говорите? О щедрости и отзывчивости Фаины Раневской ходили легенды! Если кого «не из лиц духовного звания» и обозначать «бессребреником», так это именно её. Многие представители мира Искусства утверждали, что самый обычный человек мог обратиться к ней на улице, в транспорте – попросив денег… и получить их – просто в дар.

По сохранившимся воспоминаниям Раневская жила более чем скромно – и при этом ссужала, давала в долг деньги многим коллегам по актёрскому цеху. В большинстве случаев – даже потом об этих долгах и не вспоминала. Снисходительно относилась к тому, что многие её знакомые – и даже домработница! – банально её обкрадывают и обманывают.

Да при этом ещё и выдавая философские «обоснования»: мол, видать, этим людям материальные блага более необходимы, чем ей. В дневниках обмолвилась: «Я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так и доживаю с этой отдачей (…) Поняла, в чём моё несчастье: я (…) *«бытовая» дура – не лажу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть. (…)* Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную».

А к этому утверждению – куча на первый взгляд мелочей, доказывающих, что это вовсе не обычная для среды «гениев» привычка удачно покрасоваться на публику. Например, из воспоминаний современников: «Раневская всю жизнь спала на узенькой тахте. Приобретённую однажды шикарную двуспальную кровать подарила на свадьбу своей домработнице Лизе».

…При этом лишь финансовыми дарами альтруизм Раневской явно не ограничивался. Практически никогда не прося ничего для себя самой – не могла отказать в просьбе «похлопотать» за кого-то. Чем многие беззастенчиво пользовались, иногда ставя при этом Раневскую в «идиотское положение». Широко известен такой, к примеру, эпизод. Раневская позвонила ректору Театрального училища имени Щепкина и стала просить за «юное дарование»: «Проследите лично, он – настоящий самородок, не проглядите, пожалуйста…»

Собеседник исполнил просьбу, проследил лично… Однако

остался крайне недоволен «заявленными» талантами. Перезвонил Раневской, начал очень мягко, издалека. Та его резко обрывает: «Ну как? Говно? Гоните его в шею, (…) Я так и чувствовала *(…) Но вот ведь характер какой, меня просят посодействовать и дать рекомендацию, а я отказать никому не могу!»*

Хотя, в основном, просьбы окружающих чаще всё же ограничивались лишь «банально финансовыми».

Нельзя сказать, чтобы у Фаины Георгиевны прогрессировала некая «денежная фобия». Нет, порою она как никогда остро чувствовала нехватку денег. Но опять – не во имя их самих! «Просто деньги» – не могут дать ничего из того, что может дать общение с близкими по духу людьми. «…Буду думать, где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска мне, и не одной, а с П. Л… Перерыла все бумаги, обшарила все карманы и не нашла ничего похожего на денежные знаки…» – обречённо констатирует в дневниках. И тут важно, что «П.Л.» – это Павла Леонтьевна Вульф, прославленная актриса, театральный педагог… и главный наставник, Учитель Фаины Раневской.

И тут остаётся разве что добавить, что столь жертвенный альтруизм (желание помогать другим – даже в ущерб себе) пробудился у Фаины с детства. И шёл не от неких моральных, рассудочных установок – а от глубинного порыва, от особого состояния души, наполненной иррациональными эманациями «человеколюбия»… и самоотречения во имя его!

Из воспоминаний: «Впервые в кино. Обомлела. (…) Мне лет 12. Я в экстазе, хорошо помню моё волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи (…) разбиваю. Я в неистовстве – мне надо совершить что-то большое, необычное. По полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям: «Берите, берите, мне ничего не нужно…» И сейчас мне тоже ничего не нужно – мне 80. (…) Экстазов давно не испытываю».

* * *

Экстаз от кинематографа, испытанной Фаей Фельдман в двенадцатилетнем возрасте, привёл её к «фильмовой» стезе, которая принесла не только широкую известность, но и горькие разочарования.

Странно, но то, что дало Раневской поистине всенародную известность и признательность зрителя, – как-то особого энтузиазма у неё не вызывало. Существует масса дошедших до наших дней фраз Актрисы, в которых она весьма «прохладно» отзывается об «важнейшем из искусств, по Ленину».

«Четвёртый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актёры играли как никогда» – это язвительное замечание о жанре кино, как таковом. Завуалированное сравнение с театром – явно в пользу последнего!

«Когда мне снится кошмар – это значит, я во сне снимаюсь в кино» – это уже непосредственно о своём опыте контакта с кинематографическим цехом. Который, чего уж греха таить, – удачным и безоблачным не назовёшь! Сплошь эпизоды! За 32 года кинокарьеры – всего 25 фильмов… причём за последнюю её половину, с 1950-го по 1966-й – всего шесть (да и то: один из них – короткометражка). Главная роль, в прямом смысле этого слова, так та – вообще всего одна, в фильме 1960 года выпуска «Осторожно, бабушка!». (К тому же фильм получился довольно невзрачным, незапоминающимся: плохую работу сценариста и съёмочного состава не смог вытянуть даже профессионализм Раневской…) После начала показа фильма в кинотеатрах Раневская позвонила подруге и спросила, видела ли та новый фильм? Далее – цитата: «Ещё не видела, но сегодня же пойду и посмотрю!» – последовал ответ.

*– Так-так, – сказала Раневская. – Я, собственно, звоню, чтобы предупредить: ни в коем случае не ходите, не тратьте д*еньги на билет, фильм – редкое говно!»

…А последние 18 лет жизни – Раневская вообще в кино не снималась…

И что ещё, в сухом остатке? Две маленьких рольки в журнале «Фитиль», два записанных на плёнку телеспектакля да два озвученных мультфильма: в 1943-й… и затем аж только в 1970 году! Хотя последняя озвучка – роль «домомучительницы» Фрекен Бок в культовом мультике «Карлсон вернулся» – как по мне, так просто шедевр! Почему её не привлекали к озвучке другой продукции «Союзмультфильма»? Даже и не знаю, что сказать! Как, впрочем, и о том, почему Раневской так до обидного мало давали ролей в советских фильмах.

Разве из тех, что уже сыграны, – хоть в одной она была неубедительна? А что же тогда?

Думаю, что и саму Раневскую мучила эта несправедливость. Поэтому и отшучивалась о своих киноработах: «Деньги съедены, а позор остался».

Думаю, в этом она выступила провидицей. Позор тех, кто «распределял роли», кто назначал-снимал-тасовал актёров на съёмки, – останется до тех пор, пока Великую Актрису Раневскую будут помнить…

* * *

И всё же данные «вольные размышления» предваряют не цифровой диск с записями фильмов Фаины Георгиевны и не альбом фотографий с её спектаклей, а книгу, где приведены отрывки из её собственных дневников, изречений и наблюдений, а также изданных воспоминаний современников.

…Читая записки Фаины Раневской, невольно отмечаешь три ипостаси философствующего бурлеска: Арлекин – Мастер Дзен – скорбный Экклезиаст. И все – как скрытый вызов (или – призыв, кому как нравится) читателю или слушателю. А не та размеренная словесная вязь, с чем «походя» соглашаешься, ускоренно пролистывая в нетерпении страницы.

Нет, тут – некие особые смысловые вибрации, что упруго вонзаются в понятийную ткань мира. А из неожиданных последствий, из их отражённого эха – впадаешь в некую оторопь, «концептуальный ступор», в момент разгадывания, «расчувствования» всего заложенного в ёмкие фразы смысла. И нутром, неким тончайшим наитием ощущаешь запрятанное «двойное дно», выжидающие своего часа схороненно-потаённые глубины.

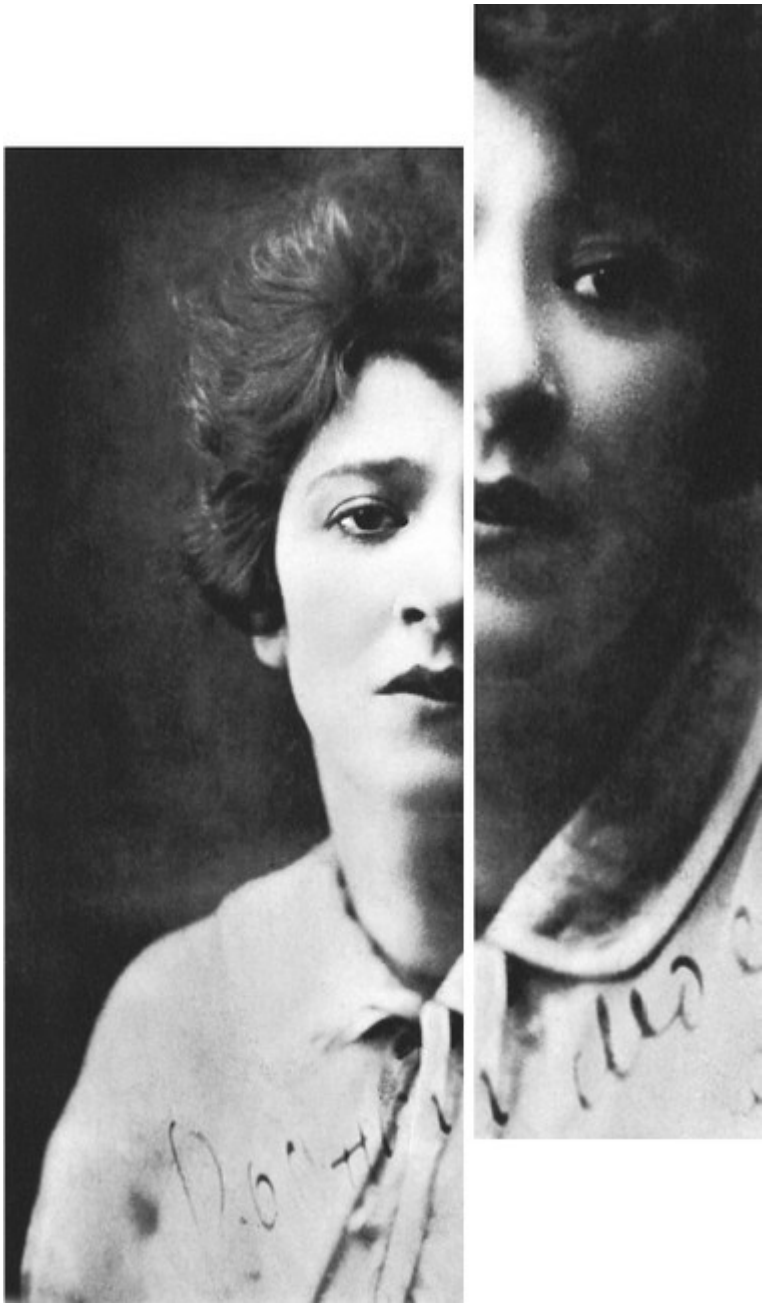
И тогда совсем по-иному будут звучать её записи, одни из последних: «Бог мой, как прошмыгнула жизнь. Я даже никогда не слышала, как поют соловьи. *(…) Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему».*

И по мне – это гораздо честнее и пронзительней той знаменитой фразы *(«Начинает открываться смысл жизни…»*), что вывел незадолго до смерти великий мыслитель Лев Николаевич Толстой.

…Думаю, что справедливости ради, английской энциклопедии «кто есть ху» – в следующих своих выпусках просто настоятельно необходимо включить Ф.Г. Раневскую не только в топ-лист выдающихся актрис, но и в десятку оригинальнейших философов, а также в десятку замечательных литераторов.

Но это – для «мировой» славы, для «импортной» презентации. В России (да и в странах бывшей СССР) – Раневскую особо представлять читателю и не требуется! (Кстати, именно с этой фразы я вначале хотел начать свои вольные, слишком вольные размышления. А теперь подумал – лучше с неё будет закончить! И лишь дописать в скобках: «Завидую тем, кто будет читать Раневскую в первый раз… Не упустите!»)

Дмитрий Силкан



У меня хватило ума глупо прожить жизнь

Наверное, скоро умру. Мне видится детство все чаще и чаще.

Разные события всплывают из недр памяти и волнуют до сердцебиения. Я вижу двор, узкий и длинный, мощенный булыжниками. Во дворе сидит на цепи лохматая собака с густой свалявшейся шерстью, в которой застрял мусор и даже гвозди, – по прозвищу Букет. Букет всегда плачет и гремит цепью. Я люблю его. Я обнимаю его за голову, вижу его добрые, умные глаза, прижимаюсь лицом к морде, шепчу слова любви. От Букета плохо пахнет, но мне это не мешает. В черном небе – белые звезды, от них светло. И мне видно из окна, как со двора волокут нашу лошадь. Кучер говорит, что лошадь подохла от старости и что тащат ее на живодерню. Я не знаю, что такое живодерня. Мне пять лет.

В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль за спасение утопающих… У дворника на пиджаке медаль, мне очень она нравится, я хочу такую же, но медаль дают за храбрость – объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок, достойный медали. В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть и за это мне дали медаль, как у нашего дворника. Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала: «Похоронные принадлежности».

Актрисой себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале – посмотреть, какая я в слезах. Несчастной я стала в шесть лет. Гувернантка повела меня в приезжий «зверинец». В маленькой комнате сидела худая лисица с человечьими глазами. Рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина. Вошли пьяные, шумные оборванцы и стали тыкать в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь. Сейчас мне 76 лет. Все 70 лет я этим мучаюсь.

Говорят, любовь приходит с молоком матери. У меня пришла со «слезами матери». Мне четко видится мать, обычно тихая, сдержанная, – она громко плачет. Я бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку, плачет, плачет, она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери – газета: «…вчера в Баденвейлере скончался А.П. Чехов». В газете – фотография человека с добрым лицом. Бегу искать книгу Чехова. Нахожу, начинаю читать. Мне попалась «Скучная история». Я схватила книгу, побежала в сад, прочитала всю. Закрыла книжку. И на этом закончилось мое детство. Я поняла все об одиночестве человека.

Это отравило мое детство. Прошло несколько лет, и я опять услыхала страшный крик матери, она кричала: «Как же теперь жить? Его уже нет. Все кончилось, все ушло, ушла совесть…» Она убивалась, слегла, долго болела. Любовь к Толстому во мне и моя, и моей матери. Любовь и мучительная жалость и к нему, и к С. А. Только ее жаль иначе как-то. К ней нет ненависти. А вот к Н.Н. Пушкиной… ненавижу ее люто, неистово. Загадка для меня, как мог он полюбить так дуру набитую, куколку, пустяк…

Учительница подарила медальон, на нем было написано: «Лень – мать всех пороков». С гордостью носила медальон. Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну-немку. Ночью молила Бога, чтобы бонна, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала запоем, над книгой, где кого-то обижали, плакала навзрыд, – тогда отнимали книгу и меня ставили в угол. Училась плохо, арифметика была страшной пыткой. Писать без ошибок так и не научилась. Считать тоже. Наверное, в городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина. У рояля стояла большая лира цветов. Скрябин, выйдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть. И тогда я услыхала и увидела перед собой гения. Наверное, его концерт втянул, втолкнул мою душу в музыку. И стала она страстью моей долгой жизни.

Всегда завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист – читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергало меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами: «…так могла солгать лишь мать». Гимназист зарыдал, я была в экстазе. Подруга сестры читала стихи: «Увидев почерк мой, Вы, верно, удивитесь, я не писала Вам давно и думаю, Вам это все равно». Подруга сестры тоже и рыдала, и хохотала. И опять мой восторг, и зависть, и горе, почему у меня ничего не выходило, когда я пыталась им подражать. Значит, я не могу стать актрисой? Теперь, к концу моей жизни, я не выношу актеров-«игральщиков». Не выношу органически, до физического отвращения – меня тошнит от партнера, «играющего роль», а не живущего тем, что ему надлежит делать в силу обстоятельств. Сейчас мучаюсь от партнера, который «представляет» всегда одинаково, как запись

на пластинке. Если актер импровизирует – ремесло, мерзкое ремесло!

Я стою в детской на подоконнике и смотрю в окно дома напротив. Нас разделяет узкая улица, и потому мне хорошо видно все, что там происходит. Там танцуют, смеются, визжат. Это бал в офицерском собрании. Мне семь лет, я не знаю слов «пошлость» и «мещанство», но мне очень не нравится все, что вижу на втором этаже в окне дома напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать!.. Там чужие, они мне не нравятся, но я смотрю на них с интересом. Потом офицеры и их дамы уехали, и в доме напротив поселилась учительница географии – толстая важная старуха, у которой я училась, поступив в гимназию. Она ставила мне двойки и выгоняла из класса, презирая меня за невежество в области географии. В ее окно я не смотрела, там не было ничего интересного. Через много лет, став актрисой, я получила роль акушерки Змеюкиной в чеховской «Свадьбе». Мне очень помогли мои детские впечатления-воспоминания об офицерских балах. Помогли наблюдательность, стремление увидеть в человеке характерное: смешное или жалкое, доброе или злое… Играть, представлять кого-либо из людей, мне знакомых, я стала лет с пяти и часто бывала наказана за эти показы…

В театре в нашем городке гастролировали и прославленные артисты. И теперь еще я слышу голос и вижу глаза Павла Самойлова в «Привидениях» Ибсена: «Мама, дай мне солнца…» Помню, я рыдала… Театр был небольшой, любовно построенный с помощью меценатов города. Первое впечатление от оперы было страшным. Я холодела от ужаса, когда кого-нибудь убивали и при этом пели. Я громко кричала и требовала, чтобы меня увезли в оперу, где не поют. Кажется, напугавшее меня зрелище называлось «Аскольдова могила». А когда убиенные выходили раскланиваться и при этом улыбались, я чувствовала себя обманутой и еще больше возненавидела оперу.

Впервые в кино. Обомлела. Фильм был в красках (вероятно, раскрашенный вручную, как позднее флаг в «Броненосце «Потемкине»), возможно, «Ромео и Джульетта». Мне лет 12. Я в экстазе, хорошо помню мое волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами (плата за рыбий жир). Свинью разбиваю. Я в неистовстве – мне надо совершить что-то большое, необычное. По полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям: «Берите, берите, мне ничего не нужно…» И сейчас мне тоже ничего не нужно – мне 80. Даже духи из

Парижа, мне их прислали, – подарки друзей. Теперь перебираю в уме, кому бы их подарить… Экстазов давно не испытываю. Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему.

Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества.

Жизнь отнимает столько времени, что писать о ней – некогда

ЖИЗНЬ ОТНИМАЕТ **СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ,** ЧТО ПИСАТЬ О НЕЙ — НЕКОГДА

Я социальная психопатка. Комсомолка с веслом.

Вы меня можете пощупать в метро. Это я там стою, полусклонясь, в купальной шапочке и медных трусиках, в которые все октябрята стремятся залезть. Я работаю в метро скульптурой. Меня отполировало такое количество лап, что даже великая проститутка Нана могла бы мне позавидовать.

Ахматова мне говорила: «Вы великая актриса». Ну да, я великая артистка, и поэтому я ничего не играю, меня надо сдать в музей. Я не великая артистка, а великая жопа.

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи.

Жизнь бьет ключом по голове!

Эпикур говорил – хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался.

«Писать мемуары – все равно что показывать свои вставные зубы», – говорил Гейне. Я скорее дам себя распять, чем напишу книгу «Сама о себе». Не раз начинала вести дневник, но всегда уничтожала написанное. Как можно выставлять себя напоказ? Это нескромно и, по-моему, отвратительно.

Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо – не хочется. Хорошо – неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке. Я знаю самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю с этой отдачей. Воспоминания – это богатство старости.

Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга – «Судьба – шлюха».

Три года писала книгу воспоминаний, польстившись на аванс 2000 рублей с целью приобрести теплое пальто.

Меня попросили написать автобиографию. Я начала так: «Я – дочь небогатого нефтепромышленника…»

Книгу писала 3 года, прочитав, порвала. Книги должны писать писатели, мыслители или же сплетники.

Если бы я вела дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: «Какая смертная тоска». И все. Я бы еще записала, что театр стал моей богадельней, а я еще могла бы что-то сделать.

Жизнь отнимает у меня столько времени, что писать о ней

совсем некогда.

Жизнь моя… Прожила около, все не удавалось. Как рыжий у ковра.

Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка.

Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй.

Ничего кроме отчаянья от невозможности что-либо изменить в моей судьбе.

Главное в том, чтоб себя сдерживать, – или я, или кто-то другой так решил, но это истина. С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней.

У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собою – какое самоограничение.

День кончился. Еще один напрасно прожитый день никому не нужной моей жизни.

Молодой человек! Я ведь помню порядочных людей… Боже, какая я старая!

Я как старая пальма на вокзале – никому не нужна, а выбросить жалко.

Не могу его есть (мясо): оно ходило, любило, смотрело… Может быть, я психопатка?

Про курицу, которую пришлось выбросить из-за того, что нерадивая домработница сварила ее со всеми внутренностями, Фаина Георгиевна грустно сказала: «Но ведь для чего-то она родилась!»

– Фаина Георгиевна, как ваши дела?

– Вы знаете, милочка, что такое говно? Так вот оно по сравнению с моей жизнью – повидло.

– Как ваша жизнь, Фаина Георгиевна?

– Я вам еще в прошлом году говорила, что говно. Но тогда это был марципанчик.

Бог мой, как прошмыгнула жизнь. Я даже никогда не слышала, как поют соловьи.

Жизнь – это небольшая прогулка перед вечным сном.

Жизнь – это затяжной прыжок из п…ды в могилу.

Страшно грустна моя жизнь. А вы хотите, чтобы я воткнула в жопу куст сирени и делала перед вами стриптиз.

Теперь, в старости, я поняла, что «играть» ничего не надо.

Отвратительные паспортные данные. Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула.

Паспорт человека – это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть восемнадцать лет, а паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как восемнадцатилетний человек!

Старость – это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу. Бирма – и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!

Старая харя не стала моей трагедией – в 22 года я уже гримировалась старухой и привыкла и полюбила старух моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице: «Старухи, я любила вас, будьте бдительны!»

Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки… Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера!

Сегодня ночью думала о том, что самое страшное – это когда человек принадлежит не себе, а своему распаду.

Мысли тянутся к началу жизни – значит, жизнь подходит к концу.

Книппер-Чехова, дивная старуха, однажды сказала мне: «Я начала душиться только в старости».

Еду в Ленинград. На свидание. Накануне сходила в парикмахерскую. Посмотрелась в зеркало – все в порядке. Волнуюсь, как пройдет встреча. Настроение хорошее. И купе отличное, СВ, я одна. В дверь постучали.

– Да, да!

Проводница:

– Чай будете?

– Пожалуй… Принесите стаканчик, – улыбнулась я.

Проводница прикрыла дверь, и я слышу ее крик на весь коридор:

– Нюся, дай чай старухе!

Все. И куда я, дура, собралась, на что надеялась?! Нельзя ли повернуть поезд обратно?..

В шестьдесят лет мне уже не казалось, что жизнь кончена, и когда седой как лунь театровед сказал: «Дай Бог каждой женщине вашего возраста выглядеть так, как вы», – спросила игриво:

– А сколько вы мне можете дать?

– Ну, не знаю, лет семьдесят, не больше.

От удивления я застыла с выпученными глазами и с тех пор никогда не кокетничаю возрастом.

В Театре им. Моссовета с огромным успехом шел спектакль «Дальше – тишина». Главную роль играла уже пожилая Раневская. Как-то после спектакля к ней подошел зритель и спросил:

– Простите за нескромный вопрос, а сколько вам лет?

– В субботу будет сто пятнадцать, – тут же ответила актриса.

Поклонник обмер от восторга и сказал:

– В такие годы и так играть!

Одиноко. Смертная тоска. Мне 81 год…

Ничто так не дает понять и ощутить своего одиночества, как когда некому рассказать сон.

Сижу в Москве, лето, не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и с сортиром. А в мои годы один может быть любовник – домашний клозет.

Когда Раневская получила новую квартиру, друзья перевезли ее немудрящее имущество, помогли расставить и разложить все по местам и собрались уходить. Вдруг она заголосила:

– Боже мой, где мои похоронные принадлежности?! Куда вы положили мои похоронные принадлежности? Не уходите же, я потом сама ни за что не найду, я же старая, они могут

понадобиться в любую минуту!

Все стали искать эти «похоронные принадлежности», не совсем понимая, что, собственно, следует искать. И вдруг Раневская радостно возгласила:

– Слава богу, нашла!

И торжественно продемонстрировала всем коробочку со своими орденами и медалями.

В старости главное – чувство достоинства, а его меня лишили.

Старость – это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность.

Стареть скучно, но это единственный способ жить долго.

Старость – это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы.

Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что не похожа! Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают.

Как-то в присутствии Раневской начали ругать современную молодежь.

– Вы правы, – согласилась актриса, – сегодняшняя молодежь ужасна.

И после паузы добавила:

– Но еще хуже то, что мы не принадлежим к ней.

Я кончаю жизнь банально – стародевически: обожаю котенка и цветочки до страсти.

Сейчас долго смотрела фото – глаза собаки человечны удивительно. Люблю их, умны они и добры, но люди делают их злыми.

Читаю дневник Маклая, влюбилась и в Маклая, и в его дикарей.

Читаю Даррела, у меня его душа, а ум курицы. Даррел писатель изумительный, а его любовь к зверью делает его самым мне близким сегодня в злом мире.

Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много – в «Книгу о вкусной и здоровой пище».

Мне иногда кажется, что я еще живу только потому, что очень хочу жить. За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить, но я ему приказываю: «Бейся, окаянное, и не смей останавливаться».

– Моя собака живет лучше меня! – пошутила однажды Раневская. – Я наняла для нее домработницу. Так вот и получается, что она живет, как Сара Бернар, а я – как сенбернар…

Сегодня встретила первую любовь. Шамкает вставными челюстями, а какая это была прелесть. Мы оба стеснялись нашей старости.

Сейчас, когда человек стесняется сказать, что ему не хочется умирать, он говорит так: «Очень хочется выжить, чтобы посмотреть, что будет потом». Как будто, если бы не это, он немедленно был бы готов лечь в гроб.

А может быть, поехать в Прибалтику? А если там умру? Что я буду делать?

Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения».

Похороны – спектакль для любопытствующих обывателей.

Богатство в том, что мне оно не нужно

БОГАТСТВО
В ТОМ, ЧТО МНЕ
ОНО НЕ НУЖНО

Фаина Георгиевна, как могла, всячески старалась преодолеть

быт. Уборка, еда, одежда – все это было для нее тяжким испытанием.

Угнетает гадость в людях, в себе самой – люди бегают, носятся, скупают, закупают, магазины пусты – слух о денежной реформе, – замучилась долгами, нищетой, хожу как оборванка, «народная артистка». К счастью, мне очень мало надо.

Поняла, в чем мое несчастье: скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая» дура – не лажу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть. У всех есть «приятельницы», у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я.

Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.

Оставшись в послереволюционной России, Раневская очень бедствовала и в какой-то трудный момент обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца.

Тот ей сказал: «Сударыня, поймите меня правильно: дать дочери Фельдмана мало я не могу. А много – у меня уже нет…»

Третий час ночи… Знаю, не засну, буду думать, где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска мне, и не одной, а с П. Л. (Павлой Леонтьевной Вульф). Перерыла все бумаги, обшарила все карманы и не нашла ничего похожего на денежные знаки…

Раневской деньги нужны были главным образом для того, чтобы отдавать их другим. Она не просто любила делать подарки, она не могла без этого жить. Дарить – это было основное качество Фаины Георгиевны.

В Москве можно выйти на улицу одетой как бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение – это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, трамвае, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная «скупость» – ибо в бедность никто не верит.

Многие современники Фаины Георгиевны знали ее как вспыльчивого, порой капризного, часто язвительного человека. Но никто и никогда не знал ее скупердяйкой и жадиной. О доброте и щедрости Раневской до сих пор многие вспоминают со слезами на глазах. Говорили, что любой бедный человек мог подсесть к ней в транспорте и, попросив денег, тут же их получить. Ей должны были все актеры, и о долгах этих она никогда не вспоминала. При этом Фаина Раневская жила очень скромно. Единственная

роскошь, которую она себе позволяла, – это, нежась в ванне, пить чай из самовара.

Эрзац-внук пришел к Раневской с любимой девушкой и представляет ее:

– Фаина Георгиевна, это Катя. Она умеет отлично готовить, любит печь пироги, аккуратно прибирает квартиру.

– Прекрасно, мой мальчик! Тридцать рублей в месяц, и пусть приходит по вторникам и пятницам.

У Раневской часто сменялись домработницы. Они были ее бесконечным кошмаром. Приходили в дом, как завоеватели, и уходили, как мародеры с поля боя. Лиза была, пожалуй, самой яркой из них.

– Что сегодня на обед? – интересуется Фаина Георгиевна у Лизы, когда та возвращается из магазина.

– Детское мыло и папиросы купила.

– А что к обеду?

– Вы очень полная, вам не надо обедать, лучше в ванне купайтесь.

– А где сто рублей?

– Ну вот детское мыло, папиросы купила.

– Ну а еще?

– Да что вам считать! Деньги от дьявола, о душе надо думать. Еще зубную пасту купила.

– У меня есть зубная паста.

– Я в запас, скоро ничего не будет, ей-богу, тут конец света на носу, а вы сдачи спрашиваете.

Фаина Георгиевна позволяла себя обманывать и обкрадывать, философски считая, что кому-то, возможно, ее материальные блага нужнее.

Лиза бесконечное количество раз прощалась и вновь пользовалась добротой своей хозяйки. Так, однажды в гости к Раневской пришла Любовь Орлова в шикарной норковой шубе. Домработница актрисы, одержимая страстью найти себе спутника жизни, упросила Фаину Георгиевну, пока Орлова у нее в гостях, разрешить надеть эту шубу, чтобы произвести впечатление на очередного поклонника. Раневская разрешила, в чем потом горько раскаялась, поскольку Лизавета прогуляла аж три часа, а Любовь Орлова так и не поняла, почему Фаина Георгиевна столь настойчиво уговаривала ее посидеть еще.

Раневская решила продать шубу. Открывает перед

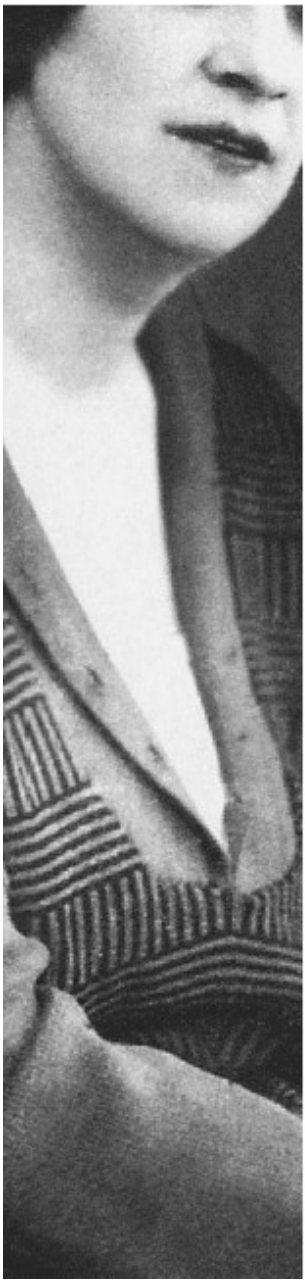
потенциальной покупательницей дверь шкафа – и вдруг оттуда вылетает здоровенная моль. Фаина Григорьевна провожает ее взглядом и внушительным тоном – с упреком – вопрошает: «Ну что, сволочь, нажралась?»

Раневская всю жизнь спала на узенькой тахте. Приобретенную однажды шикарную двуспальную кровать подарила на свадьбу своей домработнице Лизе.

Комната, в которой она жила в Старопименовском переулке, была кишка без окон, так что ее можно было уподобить гробу. «Живу, как Диоген, – говорила она, – днем с огнем».

Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства.

Начинала как «героиня-кокетт»



НАЧИНАЛА
КАК «ГЕРОИНЯ-КОКЕТТ»

В отзыве «домосковского» критика Раневская описана так: «Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и ярко, тонкая фигурка утопает в кринолине и волнах декольтированного

платья. Она напоминает маленького сверкающего колибри…» Для зрителя, знающего актрису только по фильмам и поздним ролям, это описание кажется противоречащим ее данным. Но судя по фотографиям 20-х годов, Фаина действительно была красавицей. Не случайно в первом контракте ее амплуа обозначено – «героиня-кокетт».

В 1915 году к директору одного из подмосковных театров явилась молодая девица весьма неординарной наружности с рекомендательным письмом. Письмо было подписано близким приятелем директора, московским антрепренером Соколовским. «Дорогой Ванюша, – писал он, – посылаю тебе эту дамочку, чтобы только отвязаться от нее. Ты уж сам как-нибудь деликатно, намеком, в скобках, объясни ей, что делать ей на сцене нечего, что никаких перспектив у нее нет. Мне самому, право же, сделать это неудобно по ряду причин, так что ты, дружок, как-нибудь отговори ее от актерской карьеры – так будет лучше и для нее, и для театра. Это совершенная бездарь, все роли она играет абсолютно одинаково, фамилия ее Раневская…» К счастью, директор театра не послушался совета Соколовского.

Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила чернилами. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое, с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии «Глухонемой» (партнером моим был актер Ечменев), он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьершей театра, сидевшей в ложе, бывшим моим педагогом, случилось нечто вроде истерики… (это была П.Л. Вульф). И это был второй повод для меня уйти со сцены.

Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…» После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены.

Я провинциальная актриса. Где я только не служила! Только в городе Вездесранске не служила!..

Я сегодня играла очень плохо. Огорчилась перед спектаклем

и не могла играть: мне сказали, что вымыли сцену для меня. Думали порадовать, а я расстроена, потому что сцена должна быть чистой на каждом спектакле.

Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки.

Нас приучили к одноклеточным словам, куцым мыслям, играй после этого Островского!

Сегодняшний театр – торговая точка. Контора спектаклей… Это не театр, а дачный сортир. Так тошно кончать свою жизнь в сортире.

Когда нужно пойти на собрание труппы, такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой.

В театр хожу, как в мусоропровод: фальшь, жестокость, лицемерие, ни одного честного слова, ни одного честного глаза! Карьеризм, подлость, алчные старухи!

В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла на аборт, а в старости рвать зубы. Ведь знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому.

Великий Станиславский попутал все в театральном искусстве. Сам играл не по системе, а что сердце подскажет.

Эти новаторы погубили русский театр. С приходом режиссуры кончились великие актеры, поэтому режиссуру я ненавижу (кроме Таирова). Они показывают себя.

Театр катится в пропасть по коммерческим рельсам. Бедный, бедный К. С.

Я – выкидыш Станиславского.

После спектакля, в котором я играю, я не могу ночью уснуть от волнения. Но если я долго не играю, то совсем перестаю спать.

Что делать, когда надо действовать, надо напрягать нечеловеческие усилия без желания, а напротив, играя с отвращением непреодолимым, – почти все, над чем я тружусь всю мою жизнь?

Для меня каждый спектакль мой – очередная репетиция. Может быть, поэтому я не умею играть одинаково. Иногда репетирую хуже, иногда лучше, но хорошо – никогда.

Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно.

Чтобы играть Раскольникова, нужно в себе умертвить обычного, земного, нужно стать над собой – нужно искать в себе Бога.

Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Но ведь зрители действительно любят? В чем же дело? Почему ж так тяжело в театре? В кино тоже гангстеры.

Говорят, что герой не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один. Я выстояла, даже оставаясь среди зверей, чтобы доиграть до конца. Зритель ни в чем не виновен. Меня боятся…

В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части.

Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле «потеряла стыд» – ничего о себе не знаю.

Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я недо… И в театре тоже. Кладбище несыгранных ролей. Все мои лучшие роли сыграли мужчины.

Мне бы только не мешали, а уж помощи я не жду… Режиссер говорит мне – пойдите туда, станьте там, – а я не хочу стоять «там» и идти «туда». Это против моей внутренней жизни, или я пока этого еще не чувствую.

– Почему, Фаина Георгиевна, вы не ставите и свою подпись под этой пьесой? Вы же ее почти заново переписали.

– А меня это устраивает. Я играю роль яиц: участвую, но не вхожу.

Узнав, что ее знакомые идут сегодня в театр посмотреть ее на сцене, Раневская пыталась их отговорить:

– Не стоит ходить: и пьеса скучная, и постановка слабая… Но раз уж все равно идете, я вам советую уходить после второго акта.

– Почему после второго?

– После первого очень уж большая давка в гардеробе.

– Я была вчера в театре, – рассказывала Раневская. – Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала.

Как-то на южном море Раневская указала рукой на летящую чайку и сказала:

– МХАТ полетел.

– Говорят, что этот спектакль не имеет успеха у зрителей?

– Ну это еще мягко сказано, – заметила Раневская. – Я вчера позвонила в кассу и спросила, когда начало представления.

– И что?

– Мне ответили: «А когда вам будет удобно?»

В свое время именно Эйзенштейн дал застенчивой, заикающейся дебютантке, только появившейся на «Мосфильме», совет, который оказал значительное влияние на ее жизнь.

– Фаина, – сказал Эйзенштейн, – ты погибнешь, если не научишься требовать к себе внимания, заставлять людей подчиняться твоей воле. Ты погибнешь, и актриса из тебя не получится!

Вскоре Раневская продемонстрировала наставнику, что кое-чему научилась.

Узнав, что ее не утвердили на роль в «Иване Грозном», она пришла в негодование и на чей-то вопрос о съемках этого фильма крикнула:

– Лучше я буду продавать кожу с жопы, чем сниматься у Эйзенштейна!

Автору «Броненосца» незамедлительно донесли, и он отбил из Алма-Аты восторженную телеграмму: «Как идет продажа?»

Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных?

Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда.

Раневская познакомилась и подружилась с теткой режиссера Львовича, которая жила в Риге, но довольно часто приезжала в Москву. Тетку эту тоже звали Фаина, что невероятно умиляло Раневскую, которая считала свое имя достаточно редким.

«Мы с вами две Феньки, – любила при встрече повторять Раневская. – Это два чрезвычайно редких и экзотических имени».

Однажды сразу после выхода фильма «Осторожно, бабушка!» Фаина Раневская позвонила в Ригу своей тезке и спросила, видела ли та фильм.

– Еще не видела, но сегодня же пойду и посмотрю!

– Так-так, – сказала Раневская. – Я, собственно, зачем звоню… Звоню, чтобы предупредить – ни в коем случае не ходите, не тратьте деньги на билет, фильм – редкое г..!

Когда мне снится кошмар – это значит, я во сне снимаюсь в кино.

Сняться в плохом фильме – все равно что плюнуть в вечность!

О своих работах в кино: «Деньги съедены, а позор остался».

Каплер звонил, предлагал у него выступить. Ф. Г. махнула рукой.

– Только мне и лезть на телевидение. Я пыталась отшутиться: «Представляете – мать укладывает ребенка спать, а тут я своей мордой из телевизора: «Добрый вечер!» Ребенок на всю жизнь заикой сделается…

Или жена с мужем выясняют отношения, и только он решит простить ее – тут я влезаю в их квартиру. «Боже, до чего отвратительны женщины!» – понимает он, и примирение разваливается. Нет уж, дорогой Люсенька, я скорее соглашусь станцевать Жизель, чем выступить по телевидению. С меня хватит и радио. Утром, когда работает моя «точка», я хоть могу мазать хлеб маслом и пить чай, не уставясь, как умалишенная, в экран. Да у меня его и нет.

Все домработницы ушли в актрисы

Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров.

Гёте сказал: «Все должно быть Единым, вытекать из Единого

и возвращаться в Единое». Это для нас, для актеров, – основа!

Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли.

Очень тяжело быть гением среди козявок (об Эйзенштейне).

Есть люди, хорошо знающие, «что к чему». В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи.

Раневская долгие годы работала в Театре им. Моссовета. Однако отношения с главным режиссером у нее не сложились, и Завадскому частенько доставалось от ее острого языка.

Как-то Завадский, который только что к своему юбилею получил звание Героя Социалистического Труда, опаздывал на репетицию. Ждали долго. Наконец, не выдержав, Раневская спросила с раздражением:

– Ну, где же наша Гертруда?

Однажды Юрий Завадский крикнул в запале актрисе:

– Фаина Георгиевна, вы своей игрой сожрали весь мой режиссерский замысел!

– То-то у меня ощущение, что я наелась дерьма! – парировала «великая старуха».

Завадскому дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня».

С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже Завадского.

Присказка Раневской, порожденная ее трениями на профессиональной почве с Юрием Завадским:

– Вы знаете, что снится Завадскому? Ему снится, что он уже похоронен в Кремлевской стене.

Он (Завадский) умрет от расширения фантазии.

Геннадий Бортников встретился с Раневской через несколько дней после похорон Ю. Завадского: «Она прижала меня к себе и долго молчала. Молчал и я. В глазах Фаины Георгиевны была

какая-то отрешенность.

– Осиротели, – сказала она. – Тяжело было с ним, а без него будет совсем худо».

Я знала его всю жизнь. Со времени, когда он только-только начинал, жизнь нас свела, и все время мы прошли рядом. И я грущу, тоскую о нем, мне жаль, что он ушел раньше меня. Я чувствую свою вину перед ним: ведь я так часто подшучивала над ним.

– Шатров – это Крупская сегодня, – так определила Раневская творчество известного драматурга, автора многочисленных пьес о Ленине.

Когда я говорю о «дерьме», то имею в виду одно: знал ли Сергей Владимирович, что всех детей, которые после этого фильма добились возвращения в Советский Союз, прямым ходом отправляли в лагеря и колонии? Если знал, то 30 сребреников не жгли руки?.. Вы знаете, что ему дали Сталинскую премию за «Дядю Степу»? Михаил Ильич Ромм после этого сказал, что ему стыдно носить лауреатский значок. Язвительный Катаев так изобразил его в «Святом колодце», такой псевдоним придумал – Осетрина (Михалков действительно похож на длинного осетра) – и живописал его способность, нет, особый нюх, позволяющий всегда оказываться среди видных людей или правительственных чиновников, когда те фотографируются.

– Ну-с, Фаина Георгиевна, и чем же вам не понравился финал моей последней пьесы?

– Он находится слишком далеко от начала.

– Очень сожалею, Фаина Георгиевна, что вы не были на премьере моей новой пьесы, – похвастался Раневской Виктор Розов. – Люди у касс устроили форменное побоище!

– И как? Удалось им получить деньги обратно?

Сейчас актеры не умеют молчать, а кстати, и говорить!

Сейчас все считают, что могут быть артистами только потому, что у них есть голосовые связки.

Ну надо же! Я дожила до такого ужасного времени, когда исчезли домработницы. И знаете почему? Все домработницы ушли в актрисы.

Вассу играла в 36-м году… Сравнивая и вспоминая то время – поняла, как сейчас трудно. Актеры – пошлые, циничные. А главное – талант сейчас ни при чем. Играет всякий кому охота.

Талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

Для меня всегда было загадкой – как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться, даже насморком. Как бы растолковать бездари: никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. Понятна моя мысль неглубокая?

Как могли великие актеры играть с любым дерьмом? Очевидно, только малоталантливые актеры жаждут хорошего, первоклассного партнера, чтоб от партнерства взять для себя необходимое, чтоб поверить – я уже мученица. Ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, и вся моя долгая жизнь в театре – Голгофа.

Раневскую спросили, почему у Марецкой все звания и награды, а у нее намного меньше. На что Раневская ответила:

– Дорогие мои! Чтобы получить все это, мне нужно сыграть как минимум Чапаева!

У этой актрисы жопа висит и болтается, как сумка у гусара.

У нее голос – будто в цинковое ведро ссыт.

Обсуждая только что умершую подругу-актрису:

– Хотелось бы мне иметь ее ноги – у нее были прелестные ноги! Жалко – теперь пропадут.

– Нонна, что, артист Н. умер?

– Умер.

– То-то я смотрю, его хоронят…

Птицы ругаются, как актрисы из-за ролей. Я видела, как воробушек явно говорил колкости другому, крохотному и немощному, и в результате ткнул его клювом в голову. Все как у людей.

Увидев исполнение актрисой Х. роли узбекской девушки в спектакле Кахара в филиале «Моссовета» на Пушкинской улице, Раневская воскликнула: «Не могу, когда шлюха корчит из себя

невинность!»

Критикессы – амазонки в климаксе.

Раневская участвовала в заседании приемной комиссии в театральном институте.

Час, два, три…

Последняя абитуриентка в качестве дополнительного вопроса получает задание:

– Девушка, изобразите нам что-нибудь эротическое с крутым обломом в конце…

Через секунду перед членами приемной комиссии девушка начинает нежно стонать:

– А…аа…ааа…

Аааа…

Аа-аа-аапчхи!!

Как-то Раневская позвонила Михаилу Новожихину, ректору Театрального училища им. М.С. Щепкина:

– Михаил Михайлович, дорогой мой, у меня к вам великая просьба. К вам в училище поступает один абитуриент, страшно талантливый. Фамилия его Малахов. Вы уж проследите лично, он настоящий самородок, не проглядите, пожалуйста…

Разумеется, Новожихин отнесся к такой высокой рекомендации со всем вниманием и лично присутствовал на экзамене. Малахов не произвел на него никакого впечатления, и даже, напротив, показался абсолютно бездарным. После долгих колебаний он решил-таки позвонить Раневской и как-нибудь вежливо и тактично отказать ей в просьбе. Едва только начал он свои объяснения, как Фаина Георгиевна закричала в трубку:

– Ну как? Г…? Гоните его в шею, Михаил Михайлович! Я так и чувствовала, честное слово… Но вот ведь характер какой, меня просят посодействовать и дать рекомендацию, а я отказать никому не могу.

Получаю письма: «Помогите стать актером». Отвечаю: «Бог поможет!»

Так много любви, а в аптеку сходить некому

Во время гастрольной поездки в Одессу Раневская

пользовалась огромной популярностью и любовью зрителей. Местные газеты выразились таким образом: «Одесса делает Раневской апофеоз!»

Актриса прогуливалась по городу, а за ней долго следовала толстая гражданка, то обгоняя, то заходя сбоку, то отставая, пока наконец не решилась заговорить.

– Я не понимаю, не могу понять, вы – это она?

– Да, да, да, – басом ответила Раневская. – Я – это она!

На улице в Одессе к Раневской обратилась прохожая:

– Простите, мне кажется, я вас где-то видела… Вы в кино не снимались?

– Нет, – отрезала Раневская, которой надоели уже эти бесконечные приставания. – Я всего лишь зубной врач.

– Простите, – оживилась ее случайная собеседница. – Вы зубной врач? А как ваше имя?

– Черт подери! – разозлилась Раневская, теперь уже обидевшись на то, что ее не узнали. – Да мое имя знает вся страна!

За Раневской по одесской улице бежит поклонник, настигает и радостно кричит, протягивая руку:

– Здравствуйте! Позвольте представиться, я – Зяма Иосифович Бройтман…

– А я – нет! – отвечает Раневская и продолжает прогулку.

Назойливая поклонница выпрашивает у Фаины Григорьевны номер ее телефона. На что та отвечает с изумлением в глазах: «Милая, вы что, с ума сошли? Ну откуда я знаю свой телефон? Я же сама себе никогда не звоню».

После очередного спектакля, уже в гримерке, глядя на цветы, записки, письма, открытки, Раневская нередко замечала:

– Как много любви, а в аптеку сходить некому…

Чтобы получить признание – надо, даже необходимо, умереть.

Однажды Раневская отправилась в магазин за папиросами, но попала туда в тот момент, когда магазин закрывался на обед. Уборщица, увидев стоящую у дверей Раневскую, бросила метелку и швабру и побежала отпирать дверь.

– А я вас, конечно же, узнала! – обрадованно заговорила уборщица, впуская Раневскую. – Как же можно не впустить вас в

магазин, мы ведь вас все очень любим. Поглядишь этак на вас, на ваши роли, и собственные неприятности забываются. Конечно, для богатых людей можно найти и более шикарных артисток, а вот для бедного класса вы как раз то, что надо!

Такая оценка ее творчества очень понравилась Раневской, и она часто вспоминала эту уборщицу и ее бесхитростные комплименты.

Этим ограничивается моя слава – «улицей», а начальство не признает. Все, как полагается в таких случаях.

Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой славе гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Это происходит оттого, что человека, пользующегося известностью, считают счастливым, удовлетворенным, а в действительности все наоборот. Любовь зрителя несет в себе какую-то жестокость… Однажды после спектакля, когда меня заставили играть «по требованию публики» очень больную, я раз и навсегда возненавидела «свою славу».

Многие получают награды не по способности, а по потребности. Когда у попрыгуньи болят ноги – она прыгает сидя.

Успех – единственный непростительный грех по отношению к своему близкому.

Как-то Раневская поскользнулась на улице и упала. Навстречу ей шел какой-то незнакомый мужчина.

– Поднимите меня! – попросила Раневская. – Народные артистки на дороге не валяются…

Спутник славы – одиночество.

Я просто кричу обо всем, что у меня в голове

Я ПРОСТО КРИЧУ

ОБО ВСЕМ, ЧТО У МЕНЯ В ГОЛОВЕ

Она была любима и вождями, и публикой, и критикой.

Рузвельт отзывался о ней как о самой выдающейся актрисе XX века. А Сталин говорил: «Вот товарищ Жаров – хороший актер: понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду. Все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает – и все равно всегда разная». Этот отзыв ей пересказал Сергей Эйзенштейн, для чего разбудил ее ночью, вернувшись с одного из просмотров у Сталина. После звонка Раневской надо было разделить с кем-то свои чувства, и она надела поверх рубашки пальто и пошла во двор – будить дворника, с которым они и распили на радостях бутылочку.

– Знаете, – вспоминала через полвека Раневская, – когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.

– Фаина Георгиевна, вы видели памятник Марксу? – спросил кто-то у Раневской.

– Вы имеете в виду этот холодильник с бородой, что поставили напротив Большого театра? – уточнила Раневская.

Фаине Георгиевне уже присвоили звание народной артистки СССР, когда ею заинтересовался Комитет государственной безопасности и лично начальник контрразведки всего Советского Союза генерал-лейтенант Олег Грибанов. Будучи человеком чрезвычайно занятым, Грибанов на встречу с Раневской послал молодого опера по фамилии Коршунов. Планировалась, как тогда говорили чекисты, моментальная вербовка в лоб. Коршунов начал вербовочную беседу издалека. И о классовой борьбе на международной арене, и о происках иноразведок на территории СССР. Процитировал пару абзацев из новой хрущевской Программы КПСС, особо давил на то, что нынешнее поколение советских людей должно будет жить при коммунизме, да вот только проклятые наймиты империализма в лице секретных служб иностранных держав пытаются подставить подножку нашему народу. Невзначай напомнил также и о долге каждого советского гражданина, независимо от его профессиональной принадлежности, оказывать посильную помощь в их ратном труде по защите завоеваний социализма.

Вслушиваясь в страстный монолог молодого опера, Раневская прикидывала, как ей элегантней и артистичней уйти от предложения, которое должно было последовать в заключение пламенной речи. Фаина Георгиевна закуривает очередную беломорину, хитро прищуривается и спокойнейшим голосом говорит:

– Мне с вами, молодой человек, все понятно… Как, впрочем,

и со мной тоже… Сразу, без лишних слов, заявляю: я давно ждала этого момента, когда органы оценят меня по достоинству и предложат сотрудничать! Я лично давно к этому готова – разоблачать происки ненавистных мне империалистических выползней… Можно сказать, что это моя мечта с детства. Но… Есть одно маленькое «но»! Во-первых, я живу в коммунальной квартире, а во-вторых, что важнее, я громко разговариваю во сне. Представьте: вы даете мне секретное задание, и я, будучи человеком обязательным и ответственным, денно и нощно обдумываю, как лучше его выполнить, а мыслительные процессы, как вы, конечно, знаете из психологии, в голове интеллектуалов происходят беспрерывно – и днем и ночью. И вдруг ночью, во сне, я начинаю сама с собой обсуждать способы выполнения вашего задания. Называть фамилии, имена и клички объектов, явки, пароли, время встреч и прочее… А вокруг меня соседи, которые неотступно следят за мной вот уже на протяжении многих лет. Они же у меня под дверью круглосуточно, как сторожевые псы, лежат, чтобы услышать, о чем и с кем это Раневская там по телефону говорит! И что? Я, вместо того чтобы принести свою помощь на алтарь органов госбезопасности, предаю вас! Я пробалтываюсь, потому что громко говорю во сне… Нет-нет, я просто кричу обо всем, что у меня в голове. Я говорю вам о своих недостатках заранее и честно. Ведь между нами, коллегами, не должно быть недомолвок, как вы считаете?

Страстный и сценически искренний монолог Раневской произвел на Коршунова неизгладимое впечатление, с явки он ушел подавленный и напрочь разбитый железными аргументами кандидатки в агенты национальной безопасности. Доложив о состоявшейся вербовочной беседе Грибанову, он в заключение доклада сказал:

– Баба согласна работать на нас, я это нутром чувствую, Олег Михайлович! Но… Есть объективные сложности, выражающиеся в особенностях ее ночной физиологии.

– Что еще за особенности? – спросил Грибанов. – Мочится в постель, что ли?

– Нет-нет! Громко разговаривает во сне… Да и потом, Олег Михайлович, как-то несолидно получается… Негоже все-таки нашей прославленной народной артистке занимать комнату в коммунальной квартире.

После этой истории Фаина Георгиевна получила-таки отдельную квартиру, но работать на КГБ отказалась. Поклонникам актрисы так и не довелось услышать о Раневской как об агенте национальной безопасности.

Генсек Брежнев, вручая артистке орден Ленина, внезапно выговорил: «Муля, не нервируй меня!» – знаменитую фразу из фильма «Подкидыш», ставшего знаменитым оттого, что в нем снялась Раневская. Она немедленно парировала: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы».

Председатель Комитета по телевидению и радиовещанию С.Г. Лапин, известный своими запретительскими привычками, был большим почитателем Раневской. Актриса, не любившая идеологических начальников, довольно холодно выслушивала его восторженные отзывы о своем творчестве.

Однажды Лапин зашел в гримуборную Раневской после спектакля и принялся восхищаться игрой актрисы. Целуя на прощание ей руку, он спросил:

– В чем я могу вас еще увидеть, Фаина Георгиевна?

– В гробу, – ответила Раневская.

Не верю в духов, но боюсь их

Я верю в Бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, это дело рук Божьих.

Я не верю в духов, но боюсь их.

Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты.

Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: не могу стоять, когда мужчины сидят.

Запомни на всю жизнь – надо быть такой гордой, чтобы быть выше самолюбия.

В Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, открылась выставка «Шедевры Дрезденской галереи». Возле «Сикстинской мадонны» Рафаэля стояло много людей – смотрели, о чем-то говорили… И неожиданно громко, как бы рассекая толпу, чей-то голос возмутился:

– Нет, я вот одного не могу понять… Стоят вокруг, полно народу. А что толпятся?.. Ну что в ней особенного?! Босиком, растрепанная…

– Молодой человек, – прервала монолог Ф.Г. Раневская, – эта дама так долго пленяла лучшие умы человечества, что она вполне может выбирать сама, кому ей нравиться, а кому – нет.

Я говорила долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов.

Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума: она обо мне знает все, а я о ней ничего.

Ну и лица мне попадаются, не лица, а личное оскорбление!

Пусть это будет маленькая сплетня, которая должна исчезнуть между нами.

На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый – не может.

Еврей ест курицу, когда он болен или когда курица больна.

Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза.

Оптимизм – это недостаток информации.

Погода ваша меня огорчила, у нашей планеты явный

климакс, поскольку планета – дама!

Я ненавижу зиму, как Гитлера!

Какой печальный город (Ленинград). Невыносимо красивый и такой печальный с тяжело-болезнетворным климатом.

Журналист интересуется:
– Кем была ваша мать до ее замужества?
– У меня не было матери до ее замужества.

Разгадывают кроссворд:
– Падшее существо, пять букв, последняя – мягкий знак.
Раневская, не задумываясь:
– Рубль!

Актеры на собрании труппы обсуждают товарища, которого обвиняют в гомосексуализме. Звучат выступления:
– Это растление молодежи…
– Это преступление…
– Боже мой, – не выдерживает Раневская, – несчастная страна, где человек не может распоряжаться своей жопой.

– Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм – это не извращения, – заявляла актриса. – Извращений, собственно, два – хоккей на траве и балет на льду.

Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль – это когда наоборот.

– Вот женишься, Алешенька, тогда поймешь, что такое счастье.
– Да?
– Да, но поздно будет.

Раневская, всю жизнь прожившая одна, говаривала:
– Семья – это очень серьезно, семья человеку заменяет всё. Поэтому, прежде чем завести семью, необходимо как следует подумать, что для вас важнее: всё или семья.

Фаина Георгиевна вернулась домой бледная как смерть и рассказала, что ехала от театра на такси.
– Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскальзывал прямо перед

носом прохожих! Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик!

Киногруппа, в составе которой находилась Фаина Раневская, с утра выехала за город на натурные съемки. Предстояла большая работа, нужно было много успеть за день. У Раневской же, как назло, случилось расстройство желудка. По приезде на площадку она сразу направилась к выстроенному на краю поля дощатому сооружению. Аппаратура давно установлена, группа готова к съемкам, а артистки нет и нет. Режиссер нервничает, глядит на часы, оператор сучит ногами. Актриса не появляется. Орут, думая, что с ней что-то случилось. Она отзывается, кричит, что с ней все в порядке. Наконец после долгого ожидания дверь открывается и Раневская, подходя к группе, говорит:

– Братцы вы мои! Знали бы вы, сколько в человеке дерьма!

Раневская, как и очень многие женщины, абсолютно не разбиралась в физике и однажды вдруг заинтересовалась, почему железные корабли не тонут.

– Как же это так? – допытывалась она у одной своей знакомой, инженера по профессии. – Железо ведь тяжелее воды, отчего же тогда корабли из железа не тонут?

– Тут все очень просто, – ответила та. – Вы ведь учили физику в школе?

– Не помню.

– Ну, хорошо, был в древности такой ученый по имени Архимед. Он открыл закон, по которому на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной воды…

– Не понимаю, – развела руками Фаина Георгиевна.

– Ну вот, к примеру, вы садитесь в наполненную до краев ванну, что происходит? Вода вытесняется и льется на пол… Отчего она льется?

– Оттого, что у меня большая ж…! – догадалась Раневская, начиная постигать закон Архимеда.

От долгой носки юбка у Раневской стала даже просвечиваться. По этому поводу она заметила:

– Напора красоты не может сдержать ничто.

Феномéн,феномéн, и еще раз феномéн

ФЕНОМÉН, ФЕНОМÉН,
И ЕЩЕ РАЗ
ФЕНОМÉН

В доме отдыха на прогулке приятельница заявляет:

– Я так обожаю природу.

Раневская останавливается, внимательно осматривает ее и говорит:

– И это после того, что она с тобой сделала?

Раневская и Марецкая идут по Тверской. Раневская говорит:

– Тот слепой, которому ты подала моне– ту, не притворяется, он действительно не видит.

– Почему ты так решила?

– Он же сказал тебе: «Спасибо, красотка!»

– А ведь вы, Вано [Вано Ильич Мурадели], не композитор!

– Это почему же я не композитор?

– Да потому, что у вас фамилия такая. Вместо «ми» у вас «му», вместо «ре» – «ра», вместо «до» – «де», вместо «ля» – «ли». Вы же, Вано, в ноты не попадаете!

Раневская приглашает в гости и предупреждает, что звонок не работает:

– Когда придете, стучите ногами.

– Почему ногами, Фаина Георгиевна?!

– Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить!

В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Раневская наклонилась к уху соседа и шепотом, но так, чтобы все слышали, выдала:

– Чувствуете, голубчик? У кого-то открылось второе дыхание!

Идущую по улице Раневскую толкнул какой-то человек, да еще и обругал грязными словами. Фаина Георгиевна сказала ему:

– В силу ряда причин я не могу сейчас ответить вам словами, какие употребляете вы. Но искренне надеюсь, что когда вы вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни и как следует вас искусает.

Раневская со всеми своими домашними и огромным багажом приезжает на вокзал.

– Жалко, что мы не захватили пианино, – говорит Фаина Георгиевна.

– Неостроумно, – замечает кто-то из сопровождавших.

– Действительно неостроумно, – вздыхает Раневская. – Дело в том, что на пианино я оставила все билеты.

Находясь уже в возрасте преклонном, Раневская тем не менее

умела заставить людей подчиняться и выполнять ее требования. Однажды перед Московской олимпиадой Раневская набрала номер директора театра и официальным тоном сообщила, что ей срочно нужна машина. Директор попробовал отказать, сославшись на то, что машина занята, но Раневская сурово перебила:

– Вы что же, не понимаете? Я должна объехать Москву и показать мальчику олимпийские объекты. Он хочет убедиться, что все в порядке…

Директор вынужден был отправить машину Раневской, хоть и не знал, какой такой еще мальчик желает проверить готовность объектов. А Мальчик – была кличка любимой собачки Фаины Георгиевны.

Как-то Фаина Раневская записала для радио длинное и подробное интервью о своей жизни, о работе в театре, о ролях в кино. Интервью это одобрили, и оно должно было пойти в эфир, но накануне передачи к ней приехала корреспондентка и попросила переписать одно место, где Раневская якобы неправильно произносит слово «феномен».

– Я справилась в словаре современного русского языка, – сказала корреспондентка. – Так вот, по-современному произносить это слово нужно с ударением на «о» – фено́мен! А вы произнесли «феноме́н».

Раневская поначалу заспорила, но потом согласилась и отправилась на студию переписывать этот кусок интервью. Однако, по всей видимости, по дороге одумалась, так что когда села к микрофону, то резко и твердо сказала:

– Феноме́н, феноме́н и еще раз феноме́н! А кто произносит фено́мен, пусть поцелует меня в задницу!

Меня пригласила к себе образованнейшая, утонченнейшая женщина XIX века Щепкина-Куперник. Я благоговела перед нею, согласно кивала, когда она завела речь о Чехове, о его горестной судьбе и ялтинском одиночестве, когда супруге все недосуг было приехать. После третьей рюмки я почувствовала себя достаточно раскрепощенно:

– Татьяна Львовна, а ведь Ольга Леонардовна Книппер-Чехова – блядь.

И обмерла от ужаса: сейчас мне откажут от дома!

Но изысканная Татьяна Львовна всплеснула ручками и очень буднично, со знанием дела воскликнула:

– Блядь, душенька, блядь!..

Раневская после спектакля сидела в своей гримерке совершенно голая и курила сигару. В этот момент дверь распахнулась и на пороге застыл один из изумленных работников театра. Актриса не смутилась и произнесла своим знаменитым баском:

– Дорогой мой, вас не шокирует, что я курю?

Фаина Георгиевна ехала в лифте с артистом Геннадием Бортниковым, а лифт застрял… Ждать пришлось долго – только минут через сорок их освободили. Молодому Бортникову Раневская сказала, выходя:

– Ну вот, Геночка, теперь вы обязаны на мне жениться! Иначе вы меня скомпрометируете!

Раневскую остановил в Доме актера один поэт, занимающий руководящий пост в Союзе писателей.

– Здравствуйте, Фаина Георгиевна! Как ваши дела?

– Очень хорошо, что вы спросили. Хоть кому-то интересно, как я живу! Давайте отойдем в сторонку, и я вам с удовольствием обо всем расскажу.

– Нет-нет, извините, но я спешу. Мне, знаете ли, надо еще на заседание…

– Но вам же интересно, как я живу! Что же вы сразу убегаете, вы послушайте. Тем более что я вас задержу ненадолго: минут сорок, не больше.

Руководящий поэт начал спасаться бегством.

– Зачем же тогда спрашивать, как я живу?! – кричала ему вслед Раневская.

Однажды на съемках ее постоянный гример то ли заболел, то ли просто не пришел – так или иначе, на месте его не оказалось. После солидного скандала, на кои, говорят, она была не меньший мастер, чем на все остальное, Раневская согласилась на замену – робкую, скромную, только что после института молоденькую девушку. Та и так была в полуобмороке от сознания того, с кем ей предстоит работать, а этот скандал ее доконал окончательно. Очевидно, желая подбодрить новенькую, Раневская решила поговорить с ней о жизни. «Замужем?» – спросила она. «Нет…» – робко пискнула девушка. «Хорошо! – одобрила Фаина Георгиевна. – Вот помню, когда в Одессе меня лишали невинности, я орала так, что сбежались городовые!»

Раневская постоянно опаздывала на репетиции. Завадскому это надоело, и он попросил актеров о том, чтобы, если Раневская

еще раз опоздает, просто ее не замечать.

Вбегает, запыхавшись, на репетицию Фаина Георгиевна:

– Здравствуйте!

Все молчат.

– Здравствуйте!

Никто не обращает внимания. Она в третий раз:

– Здравствуйте!

Опять та же реакция.

– Ах, нет никого?! Тогда пойду поссу.

Если у женщины есть голова, то у нее есть любовник

Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-

героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт.

Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, то она предполагает, что второго такого дурака она не найдет.

Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин.

Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?

Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник! Если женщина идет с опущенной головой – у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник! И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!

– Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности – брюнетки или блондинки?

– Седые.

Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, – это ее муж.

Молодая актриса как-то спросила у Раневской:

– Фаина Георгиевна, как вы думаете, почему у мужчин красивая женщина пользуется бóльшим успехом, чем умная?

– Деточка, это же так просто! Слепых мужчин на свете не слишком много, а глупых – хоть пруд пруди…

– Почему женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта?

– Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых.

Много я получала приглашений на свидания. Первое, в ранней молодости, было неудачным. Гимназист поразил меня фуражкой, где над козырьком был великолепный герб гимназии, а тулья по бокам была опущена и лежала на ушах. Это великолепие сводило меня с ума. Придя на свидание, я застала на

указанном месте девочку, которая попросила меня удалиться, так как я уселась на скамью, где у нее свидание. Вскоре появился и герой, нисколько не смутившийся при виде нас обеих. Герой сел между нами и стал насвистывать. А соперница требовала, чтобы я немедленно удалилась. На что я резонно отвечала: «На этом месте мне назначено свидание, и я никуда не уйду». Соперница заявила, что не сдвинется с места. Я сделала такое же заявление. Каждая из нас долго отстаивала свои права. Потом герой и соперница пошептались. После чего соперница подняла с земли несколько увесистых камней и стала в меня их кидать. Я заплакала и покинула поле боя… О моем первом свидании я рассказала Маршаку, он смеялся: ему понравилось то, что, вернувшись все-таки на поле боя, я сказала: «Вот увидите, вас накажет Бог!» И ушла, полная достоинства.

Больше всего в жизни я любила влюбляться.

Раневская выступала на одном из литературно-театральных вечеров, где одна из молодых девушек спросила:

– Фаина Георгиевна, что такое любовь?

Немного подумав, Раневская ответила:

– Забыла.

И тут же добавила:

– Но помню, что это что-то очень приятное.

– Удивительно, – сказала как-то Раневская, – когда мне было двадцать лет, я думала только о любви, а теперь люблю только думать.

Однажды я забыла люстру в троллейбусе. Новую, только что купленную. Загляделась на кого-то и так отчаянно кокетничала, что вышла через заднюю дверь без люстры: на одной руке сумочка, другая была занята воздушными поцелуями…

Раневскую спросили, была ли она когда-нибудь влюблена.

– А как же, – сказала Раневская, – вот было мне девятнадцать лет, поступила я в провинциальную труппу – сразу же и влюбилась. В первого героя-любовника! Уж такой красавец был! А я-то, правду сказать, страшна была, как смертный грех… Но очень любила ходить вокруг, глаза на него таращила, он, конечно, ноль внимания… А однажды вдруг подходит и говорит шикарным своим баритоном: «Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете? Так ждите сегодня вечером: буду к вам в семь часов».

Я побежала к антрепренеру, денег в счет жалованья взяла, вина накупила, еды всякой, оделась, накрасилась – жду сижу. В

семь нету, в восемь нету, в девятом часу приходит… Пьяный и с бабой! «Деточка, – говорит, – погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя!»

С тех пор не то что влюбляться – смотреть на них не могу: гады и мерзавцы!

Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительна, лучше бы ее не было… Лучше бы память навсегда убить.

Одна из хороших знакомых Фаины Георгиевны постоянно переживала драмы из-за своих любовных отношений с сослуживцем, которого звали Симой. Периодически он ее бросал, она регулярно обливалась слезами после очередной ссоры, время от времени делала от него аборты. Благодаря Раневской к молодой женщине приклеилось прозвище: «Жертва Хера Симы».

У меня будет счастливый день, когда вы станете импотентом, – в сердцах сказала Раневская чересчур назойливому ухажеру.

Раневскую спросили, не знает ли она причины развода ее приятелей. Фаина Георгиевна, не задумываясь, сказала:

– У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он – женщин.

– Вы не поверите, Фаина Георгиевна, но меня еще не целовал никто, кроме жениха.

– Это вы хвастаете, милочка, или жалуетесь?

Зашел как-то разговор о мужчине и женщине, находящихся в любовной связи.

– То есть вы хотите сказать, Фаина Георгиевна, что они живут как муж и жена? – пытается выяснить все подробности любопытная собеседница.

– Нет, гораздо лучше, – отвечает Раневская.

– Дорогая, сегодня я спала с незакрытой дверью. А если бы кто-то вошел? – жалует– ся Раневской приятельница пенсионного возраста.

– Ну сколько можно обольщаться! – не замедлила ответить Фаина Георгиевна.

Как известно, актриса Александра Яблочкина до самой старости оставалась девицей.

При случае она у Раневской попыталась выяснить

подробности самого любовного процесса, какие ощущения при этом испытывает женщина. После детального рассказа Яблочкина изрекла сакраментальную фразу:

– *Боже! И это все без наркоза!*

Находясь на гастролях, группа артистов от нечего делать отправилась днем в зоопарк. Среди них была и Раневская. И вот в одной из клеток пред ними предстал удивительного вида олень, на голове у которого вместо двух рогов выросло целых четыре.

– Какое странное животное! Что за фокус? – удивился кто-то.

– Я думаю, что это просто вдовец, который имел неосторожность снова жениться, – предположила Фаина Георгиевна.

Как-то Фаина Георгиевна рассказывала, что в доме отдыха, где ей довелось недавно побывать, объявили конкурс на самый короткий рассказ. Тема – любовь. Но есть четыре условия:

Во-первых, в рассказе должна быть упомянута королева.

Во-вторых, упомянут Бог.

В-третьих, чтобы было немного секса.

В-четвертых, присутствовала тайна.

Первую премию получил рассказ, состоявший из одной фразы:

– О Боже! – воскликнула королева. – Я, кажется, беременна и неизвестно от кого!

Раневская возвращается домой с гастролей, кроме нее в купе еще три женщины. Они между собой ведут разговор о минувшем отдыхе.

Одна говорит:

– Вернусь домой и во всем признаюсь мужу.

Вторая восхищается:

– Ну ты и смелая!

Третья осуждает:

– Ну ты и глупая!

– Ну у тебя и память! – не преминула бросить свою реплику актриса.

Еще в 60-е годы Раневская рассказала историю, которая моментально стала популярным анекдотом. Поехала она с несколькими артистами театра по путевке на Черное море. А муж одной из них достал путевку в соседний санаторий.

И вот муж пришел навестить свою жену. Прогуливаются они по аллее, и все встречающиеся мужчины очень вежливо

раскланиваются с его женой. Муж заинтересовался:

– Кто это?

– Это члены моего кружка…

Затем все пошли провожать мужа до его санатория. Многие женщины раскланиваются с ним.

– А кто это? – спрашивает жена.

– А это кружки моего члена.

– Фаина Георгиевна, на что похожа женщина, если ее поставить вверх ногами?

– На копилку.

– А мужчина?

– На вешалку.

Анекдот, авторство которого приписывают Раневской.

Разгадывают кроссворд:

– Женский половой орган из пяти букв?

– По вертикали или по горизонтали?

– По горизонтали.

– Тогда ротик.

Объясняя, почему презерватив белого цвета, Раневская говорила:

– Потому, что белый цвет полнит.

Юноша с девушкой сидят на лавочке. Юноша очень стеснительный, а девушке очень хочется, чтобы он ее поцеловал. Тогда она говорит:

– Ой, у меня щека болит.

Юноша целует ее в щечку.

– Ну как, теперь болит?

– Нет, не болит.

Через некоторое время опять:

– Ой, у меня шейка болит!

Юноша целует ее в шейку.

– Ну как, болит?

– Нет, не болит.

Сидевшая рядом Раневская поинтересовалась у юноши:

– Молодой человек, вы от геморроя не лечите?

– Сколько раз в жизни краснеет женщина?

– Четыре: в первую брачную ночь, когда в первый раз изменяет, когда в первый раз берет деньги, когда в первый раз дает деньги.

– А мужчина?

– Два раза: первый раз – когда не может второй, второй – когда не может первый.

Слава Богу, что я не мужчина, а то была бы еще импотенция

СЛАВА БОГУ,
ЧТО Я НЕ МУЖЧИНА,
А ТО БЫЛА БЫ
ЕЩЕ ИМПОТЕНЦИЯ

Здоровье – это когда у вас каждый день болит в другом месте.

Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье.

Ночью болит все, а больше всего совесть.

Нет болезни мучительнее тоски.

Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.

Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.

– Вы заболели, Фаина Георгиевна?
– Нет, я просто так выгляжу.

На вопрос одного из актеров, справлявшихся по телефону у Раневской о ее здоровье, она отвечает:

– Дорогой мой, такой кошмар! Голова болит, зубы ни к черту, сердце жмет, кашляю ужасно, печень, почки, желудок – все ноет! Суставы ломит, еле хожу… Слава богу, что я не мужчина, а то была бы еще импотенция!

Медсестра, лечившая Раневскую, рассказала, как однажды Фаина Георгиевна принесла на анализ мочу в термосе. Сестра удивилась, почему именно в термосе, надо было в баночке. На что великая актриса возмущенно пробасила: «Ох, ни хрена себе! А кто вчера сказал: неси прямо с утра, теплую?!»

Прихожу в поликлинику и жалуюсь:
– Доктор, у меня что-то в последнее время вкуса нет.
Тот обращается к медсестре:
– Дайте Фаине Георгиевне семнадцатую пробирку.
Я попробовала.
– Это же говно.
– Всё в порядке. Вкус появился.
Проходит несколько дней, я опять появляюсь в кабинете этого врача:
– Доктор, вкус-то появился, но с памятью всё хуже и хуже.
Доктор обращается к медсестре:
– Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер семнадцать.
– Там же говно! – ору я.
– Всё в порядке. Вот и память вернулась.

Фаина Георгиевна много курила, и когда известный художник-карикатурист Иосиф Игин пришел к ней, чтобы

нарисовать ее, она так и вышла – погруженной в клубы дыма на темном фоне. Врачи удивлялись ее легким:

– Чем же вы дышите?

– Пушкиным, – отвечала она.

Вавочка, я дарю тебе этот огурчик!... Хочешь ешь его, а хочешь живи с ним

ВАВОЧКА, Я ДАРЮ

ТЕБЕ ЭТОТ ОГУРЧИК!

...ХОЧЕШЬ ЕШЬ ЕГО,
А ХОЧЕШЬ ЖИВИ С НИМ

Не наблюдаю в моей дворняге тупости, которой угнетают меня друзья-неандертальцы. А где теперь взять других?

Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. У них у всех друзья такие же, как они сами, – контактны, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости. Как я завидую им – безмозглым!

Фаина Георгиевна сдружилась с Еленой Сергеевной уже после смерти Булгакова и помогала как могла. Ведь ничего не издавалось, ничего не ставилось. Однажды вдова сказала:

– Фаина, я вам верю. Клянусь, как только вы скажете, что пора оставить косметику, я немедленно подчинюсь.

– Не помню, какая вожжа мне попала под хвост, но как-то я позвонила Елене Сергеевне и произнесла одно зловещее слово: «Пора!» Очевидно, в свои сорок с гаком я в очередной раз решила: любви ждать нечего, жизнь кончилась, и надо перестать ее раскрашивать.

Булгакова встретила мое решение без прежнего энтузиазма:

– Наверное, вы правы. Но можно отложить принятие обета до новогоднего карнавала?

Устроила она это действо у себя в квартире. Не такие просторы, как на воландовском балу, но Маргарита всегда умела устроить из комнаток праздничные залы. «Вход без маскарадных костюмов строго воспрещен!» – это она объявила заранее. Я, правда, пришла в обычном платье, но мне тут же выдали накидку со звездами а-ля Метерлинк, напялили на голову шляпу-гнездо, в котором сидела птица с хищным клювом. Поначалу я не находила себе места, танцевать не хотелось, интриговать тоже. Профессор Дорлиак что-то обсуждала с подругой, тоже в «домино». Сережка Булгаков в наполеоновской треуголке болтал что-то ужасно глупое. Стало жутко, когда в квартиру вползли опоздавшие Славы – Рихтер и Ростропович. Медленно вползли в костюмах крокодилов – отличные им сделали в театре Образцова: с зеленой пупырчатой кожей, с когтистыми лапами. Дамы визжали и поднимали ноги, профессор Дорлиак норовила залезть на стол.

Перед полуночью появилась актриса, всю жизнь играющая старух. Этому секрету разгадки нет, – вы смеялись, едва увидя ее. Она пришла в невообразимом костюме под названием «Урожай»: колосья торчат из венка во все стороны, платье увешано баранками разного калибра и цвета. Баранки-бусы на шее,

баранки-серьги в ушах и даже одна баранка в носу…

– Я только что с сельскохозяйственной выставки. Первое место во всесоюзном конкурсе мое!

Я подумала: «Пельтцер – гениальна!» А это, конечно, была она – другой такой старухи у нас нет. Тогда еще не отменили хлебные карточки, и Таню хотелось тут же начать обкусывать. Насмеялись мы на целый год не случайно: страшнее наступающего 1946 года я не припомню.

С Любовью Орловой они были, можно сказать, приятельницами, но и в ее адрес Раневская позволяла себе шуточки. От безобидной:

– Шкаф Любови Петровны так забит нарядами, что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать.

До колкого передразнивания:

– Ну что, в самом деле, Чаплин, Чаплин… Какой раз хочу посмотреть, во что одета его жена, а она опять в своем беременном платье! Поездка прошла совершенно впустую.

Фаина Раневская и Варвара Сошальская были заняты в спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше». Раневской уже было за восемьдесят, а Сошальской к восьмидесяти.

Однажды на репетиции Сошальская плохо себя почувствовала: в ночь перед репетицией не спала, подскочило давление… В общем, все ужасно. Раневская пошла в буфет, чтобы купить ей шоколадку или что-нибудь сладкое, дабы поднять подруге настроение. В буфете продавались здоровенные парниковые огурцы, в ту пору впервые среди зимы появившиеся в Москве.

Фаина Георгиевна немедленно купила огурец невообразимых размеров, положила в карман передника – она играла служанку – и отправилась на сцену. В тот момент, когда нужно было подать что-то барыне Сошальской, – Раневская вытащила из кармана огурец:

– Вавочка, посмотри, какой огурчик я тебе принесла…

– Спасибо тебе, Фуфочка! – обрадовалась Сошальская.

Уходя со сцены, Раневская очень хитро подмигнула и уточнила:

– Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь – ешь его, хочешь – живи с ним…

Пришлось режиссеру объявить перерыв, поскольку после этой фразы присутствующие просто полегли от хохота и репетировать уже никто не мог…

К соседу, Риме Кармену, не пойду. К Галине Сергеевне (Улановой) можно, но вдруг ей из-за меня придется менять планы? Вот, пожалуй, к кому можно смело идти, так это к Лиде Смирновой. Мне будет рада искренне, без притворства. Когда мы с ней снимались в михалковском дерьме «У них есть Родина», мы так дружно страдали по своим возлюбленным – слезы лились в четыре ручья!

Избранные письма друзьям и подругам

Раневская писала своим близким и друзьям под копирку,

поэтому многие письма сохранились в ее архиве.

А.А. Ахматовой:

Спасибо, дорогая, за Вашу заботу и внимание и за поздравление, которое пришло на третий день после операции, точно в день моего рождения, в понедельник.

Несмотря на то, что я нахожусь в лучшей больнице Союза, я все же побывала в Дантовом аду, подробности которого давно известны.

Вот что значит операция в мои годы со слабым сердцем. На вторые сутки было совсем плохо, и вероятнее всего, что если бы я была в другой больнице, то уже не могла бы диктовать это письмо.

Опухоль мне удалили, профессор Очкин предполагает, что она была незлокачественной, но сейчас она находится на исследовании. В ночь перед операцией у меня долго сидел Качалов В.И. и мы говорили о Вас.

Я очень терзаюсь кашлем, вызванным наркозом. Глубоко кашлять с разрезанным животом непередаваемая пытка. Передайте привет моим подругам.

У меня больше нет сил диктовать, дайте им прочитать мое письмо. Сестра, которая пишет под мою диктовку, очень хорошо за мной ухаживает, помогает мне. Я просила Таню Тэсс Вам дать знать о результате операции. Обнимаю Вас крепко и благодарю.

В.И. Качалов Ф.Г. Раневской:

Грустно стало за Вас, что такое безрадостное и тяжелое для Вас выпало лето, не давшее Вам ни отдыха, ни утешения…

Не падайте духом. Фаина, не теряйте веры в свои большие силы, в свои прекраснейшие качества – берегите свое здоровье. Больше всего думается – именно теперь, в эту Вашу неудачную, несчастливую полосу жизни, – больше всего думается о здоровье.

Только о своем здоровье и думайте. Больше ни о чем пока! Все остальное приложится – раз будет здоровье, право же, это не пошляческая сентенция. Ваша «сила» внутри Вас, Ваше «счастье» в Вас самой и Вашем таланте, который, конечно, победит, не может не победить всякое сопротивление внешних фактов, пробьется через всяческое сопротивление, через всякое «невезение» и всякие «незадачи» очных ставок с подкидышами через головы Судаковых и Поповых, назло всем старухам зловещим Малого театра. Только нужно, чтобы Вы были здоровы и крепки, терпеливы и уверены в себе. Главное – здоровье.

Крепко Вас обнимаю. Ваш В. Качалов.

В.И. Качалов Ф.Г. Раневской:

«Кланяюсь страданию твоему». Верю, что страдание твое послужит тебе к украшению, и ты вернешься из Кремлевки крепкая, поздоровевшая, и еще ярче засверкает твой прекрасный талант.

Я рад, что эта наша встреча сблизила нас, и еще крепче ощутил, как нежно я люблю тебя.

Целую тебя, моя дорогая Фаина.

Твой ЧТЕЦ-ДЕКЛАМАТОР.

Е.С. Булгаковой:

Спасибо, дорогая моя Елена Сергеевна, за письмо. Мне понятно Ваше предотъездное трепыхание, пейте валерьянку и напевайте «Три богини спорить стали…». Это проверено, очень помогает. Подумайте только покойно: «Впереди Париж!»

Дорогая, я получила сегодня письмо из Парижа от одной чудесной старой дамы – подруги моей сестры, – русской, замужем за французом-профессором. Белла обожала эту свою подругу. Представьте, живя 50 лет в Париже, эта Мария Васильевна не научилась говорить по-французски! Имея в мужьях француза! Прелесть!

Если у Вас будет свободная минута, не откажите попросить Вашу родственницу посмотреть в телефонной книге профессора Pier De Vambez.

Вот обрадуете, если скажете, что были дружны с Беллой.

А профессор покажет Вам всякие прелести.

Будьте благополучны.

Господь с Вами.

В.А. Герасимовой:

Милая, милая Валерия Анатольевна!

Если бы Вы могли хоть на минуту представить себе, как я терзалась тем, что по сей день не могла Вам написать. На следующий же день после нашей встречи возникли все препятствия, болезни домашних, репетиции, киносъемки и еще много всякого противного. К тому же я сама говорю: «Воспаление во всем теле».

«Хитрые глаза» и «Третье сословие» я прочитала в ту же ночь, как получила Вашу книгу. Обе эти вещи очень меня растревожили, не подберу другого слова. Страшновато и великолепно и такая правда во всем.

Пьесу же из «Хитрых глаз», по-моему, сделать трудно, а может быть, и нельзя. Об этом подробно я скажу, когда мы встретимся. Я еще и еще раз убедилась в том, какая Вы умная,

талантливая и честная… Все, о ком Вы говорите, мои хорошие знакомые. Я должна из-за нездоровья дня 3 пробыть дома. Это даст мне возможность прочесть всю книгу. От Вас самой, а потому и от Вашей книги за версту несет благородством. Простите некрасивое выражение. Влияние Ваше как писателя на меня огромно – я никогда не буду пользоваться цитатами. Все же мне непреодолимо хочется в последний раз (клянусь) процитировать обожаемого Герцена: «Частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям». Когда я о Вас думаю, мне неизменно вспоминаются эти его слова. Еще раз благодарю за Вашу книгу, которая мне сейчас нужнее других.

Я очень рада, что познакомилась с Вами, – спасибо, что пришли. Пожалуйста, будьте благополучны. Крепко жму Вашу руку; Душевно Ваша Раневская.

Я плохо училась в гимназии, писала с ошибками. И сейчас боюсь, что Вы найдете орфографические ошибки. А ведь это позор как клоп на манишке.

Обнимаю, Ф. Р.

С.М. Михоэлсу:

Дорогой, любимый Соломон Михайлович!

Очень огорчает Ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы Вы скорее оправились от болезни, мне знакомой.

Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как Вы, но Ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к Вам.

Текст обращения, данный Я.Л. Леонтьевым, отдала Вашему секретарю, но я не уверена, что это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата!

Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна, не испытывала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков.

Может быть, Вы найдете нужным перередактировать текст обращения. Нужна подпись. Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова.

Мечтаю о дне, когда смогу Вас увидеть, услышать, хотя и боюсь Вам докучать моей любовью. Обнимаю Вас и милую Анастасию Павловну.

Душевно Ваша Раневская. 1944 г.

А.Д. Попову:

Спасибо, всегда дорогой моему сердцу, милый Алексей Дмитриевич! Мне безгранично дорого Ваше внимание. Дорого,

как подарок. Я очень чту Вас, очень боюсь и очень люблю Вас, как самого взыскательного художника наших дней, очень трудных дней театра. Трудных потому, что театр стал «торговой точкой». Я нестерпимо от этого страдаю… Обнимаю Вас крепко, еще и еще благодарю за память. Сердечно приветствую Вашу семью. Какой изумительный артист Андрей.

А.П. Потоцкой:

Дорогая Анастасия Павловна!

Мне захотелось отдать Вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича.

Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастья видеть его и слушать его.

В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть роль в пьесе Файко «Капитан Костров», роль, которую, как я теперь вспоминаю, я играла без особого удовольствия, но когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович, я похолодела от страха, я все перезабыла, я думала только о том, что Великий Мастер, актер-мыслитель, наша совесть – Соломон Михайлович смотрит на меня.

Придя домой, я вспомнила с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла.

В два часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал: «Вы ведь все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за Вас. Перестаньте терзать себя, Вы совсем неплохо играли, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать, спите спокойно – совсем неплохо играли».

А я подумала, какое это имеет значение – продлила я роль или нет, если рядом добрый друг, человек – Михоэлс.

Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь, – нет, никто так больше и никогда так не поступал.

Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной.

Он сказал мне: «Знаете, я получил письмо с угрозой меня убить». Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его жилище – одна комната без солнца, за стеной

гудит лифт и денно и нощно.

Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека.

Я навестила его, когда он вернулся из Америки. Он был нездоров, лежал в постели, рассказывал о прочитанных документах с изложением зверств фашистских чудовищ.

Он был озабочен, печален. Я спросила о Чаплине. «Чаплина в Америке затравили», – сказал Соломон Михайлович. В одном из баров ему, Соломону Михайловичу, предложили выпить коктейль под названием «Чаплин». Коктейль оказался пеной. Даже так мстили Чаплину за его антифашистские выступления.

Я спросила Соломона Михайловича, что он привез из Америки. «Жене привез подопытных мышей для научной работы». – «А себе?» – «Себе кепку, в которой уехал в Америку». (Письмо не послала. 1965 г.)

С.М. Эйзенштейну:

Дорогой Сергей Михайлович!

«Убить – убьешь, а лучше не найдешь!» Это реплика Василисы Мелентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож!..

Бессердечный мой!..

Дорогой Сергей Михайлович! Ничего не понимаю: получила телеграмму с просьбой приехать на пробу во второй половине мая, ответила согласием, дожидалась вызова – вступаем во вторую половину июня, а вызова все нет и нет!

Может быть, Вы меня отлучили от ложа, стола и пробы? Будет мне очень это горестно, т. к. я люблю Вас, Грозного и Ефросинью!

Радуюсь тому, что сценарий Ваш всех восхищает. Жду вестей.

Обнимаю Вас.

Раневская.

Т. Тэсс – Ф.Г. Раневской:

Фаиночка, дорогая моя, родной мой человек! Я знаю, что Вы сердитесь на меня, и Вы правы, но, как часто бывает, не зная всех обстоятельств жизни человека, нельзя судить о его поступках. Неужели Вы хоть на минуту подумали, что я не помню Вас, не тревожусь о Вас, не горжусь Вашим успехом, не радуюсь безмерно тому, что странная миссис Сэвидж стала зримой, живой, подаренная Вами людям? Что делать – все рожденное талантом забирает у человека его силы, нервы, сердце; странная миссис Сэвидж дорого стоила ее создательнице, и вот Вы в больнице. Я хотела приехать к Вам с Натэллой (Лордкипанидзе), но она

сказала мне, что к Вам сейчас никого не пускают, и только у Ниночки (Сухоцкой) постоянный пропуск, и она может у Вас бывать. Я звонила Ниночке, но ее не было, а сейчас я на даче, где до ближайшего телефона пятьдесят километров…Такая ночь и у Вас, там, где Вы сейчас. Как-то Вы там, дорогой мой дружок? Когда я Вас увижу? Каждый день я думаю о Вас и мучаюсь, понимая, что если на нашу общую с Борей Ефимовым телеграмму Вы ответили только ему, то, значит, на меня Вы начихали. Ваше письмо, адресованное ему, я держала в своих руках, когда оно лежало на столе в редакции, и каково мне было, можете представить. А ведь еще недавно мне писали не только Вы, но и наш дорогой Кафинькин со станции Малые Х. Вот как я наказана. И как обычно бывает, чувствуя себя виноватой, я уж не знала, как выпутаться, что сделать, как улучшить свое безнадежно пошатнувшееся положение в Ваших глазах.

Крепко Вас обнимаю и целую, любимый мой друг, дорогая великая актриса.

Всегда Ваша Т. Тэсс

Т. Тэсс – Ф.Г. Раневской:

Моя дорогая, любимая актриса – «актрисуля», как писал Антон Павлович своей Книппер, – спасибо Вам за доброе письмо и за немыслимо смешное сочинение неизвестного завистника. К сожалению, в нынешнем составе малеевских жителей сейчас очень мало людей, кому я могу это прочесть; почти все сами пишут: «Куда, куда летите, гуси?» – и ничего смешного в этом не видят. Один местный поэт, к примеру, написал в свое время стихи, которые начинались так: «Я в Москве родился, родила меня мать…» Р. в пародии вполне логично добавил: «Тетке некогда было в ту пору рожать». Но в общем это звучит на том же уровне…

…Вы ничего не написали мне о своем здоровье, и не знаю, как Вы. Не знаю я и когда начнутся гастроли в Ленинграде. Погода изменилась, дело клонится к зиме, днем шел снег, ветер злой, как собака. Бегала в Старую Рузу за 6 км, чтобы купить меда, – не сплю никак; говорят, надо есть мед перед сном и будешь спать как дитя.

Съем полбанки, могу позволить себе, как художник слова, – будь что будет.

Поэт Сергей Островский на прогулке сказал:

– Написал сегодня стихи о любви. Во стихи! Тема закрыта – все!

И лег спокойно спать. И во сне видел: не было до него ни Маяковского, ни Пастернака, ни Ахматовой – не было и не будет

после. Тема закрыта, все!

Легко, наверное, таким людям жить на свете.

Читаю здесь «Белую гвардию» – пронзающая душу, жестокая и нежная повесть. Какой удивительный писатель, какой умный, беспощадный и добрый человек! За таким можно на край света пойти, не то что в Сивцев Вражек. Елена Сергеевна (Булгакова) для меня сейчас видится совсем по-другому, словно легла на нее тень и свет Беатриче. Будем живы-здоровы, поведите меня к ней, когда вернусь в Москву.

…Какой закат сейчас – синий, таинственный, рериховский. Буря сломала огромную ель, и она лежит, раскинувшись, как павший в бою гренадер.

Пришел Орлов, зовет гулять.

Целую Вас нежно, великая моя современница.

Ваша Т. Тэсс.

В. Ходасевич – Ф.Г. Раневской:

– Дорогая моя, любимая, хорошая, уважаемая Фаиночка Георгиевна!

Понимаю, чувствую и сочувствую Вашему горю, родная! Я сама испытала этот ужас беспомощности и бессилия, когда смерть отбирает у тебя самое дорогое и любимое. Как хотелось бы, чтобы все, кто Вас любит, помогли бы Вам пережить случившееся.

Я была несколько дней в городе (живу у Кр-их под Звенигородом), никого не видела и узнала обо всем случайно, развернув старую газету. Не посмела Вам звонить и тем более появиться у Вас, т. к. не считала, что достаточно Вам близка для этого.

Вот поэтому пишу Вам, вернувшись в Звенигород. На природе все как-то легче и проще, и лучше понимаешь вечный круговорот жизни и смерти, и спокойнее как-то на это смотришь…

Вспоминаю Павлу Леонтьевну. Вспоминаю лето в Жуковке, и Ваш «гаражный» особнячок, и Ваши заботы, и любовь к Павле Леонтьевне. Это было очень красиво!

Все понимаю, но хочу, чтобы скорее Вам стало легче и спокойнее на душе, дорогая!

Я Вас крепко обнимаю и жму Ваши прекрасные руки от всего сердца.

Валентина Ходасевич.

В. Ходасевич – Ф.Г. Раневской:

…Весь этот «бомонд» меня возмущает до крайности. А у Вас нет машины и дачи, и Вы слоняетесь по жизни кое-как. Это же

безобразие! Караул!

Целую Вас, родная, нежно и преданно. Поразмыслилась и даже больше писать не могу от злобы!

Скоро напишу приличное письмо.

Приветы и поцелуи.

Вас любящая Валентина Х.

Господь с Вами.

Письмо Раневской от Любови Орловой (на нем надпись Ф.Г. «Незадолго до смерти».)

Какую радость мне доставила Ваша телеграмма! Сколько нежных, ласковых слов! Спасибо, спасибо Вам!

Я заплакала (это бывает со мной очень редко). Ко мне пришел мой лечащий врач, спросил «что с Вами». Я ему прочла Вашу телеграмму и испытала гордость от подписи РАНЕВСКАЯ и что мы дружим сорок лет, и что Вы моя фея. Доктор смотрел Вас в «Тишине» и до сих пор не может забыть. Спросил, какую Вы готовите новую роль? И мне было так стыдно и больно ответить, что нет у Вас никакой новой роли. Как же так, он говорит, – «такая актриса, такая актриса!» Вот Вы говорите, и у Вас нет новой роли. Как же так?

Я подумала, нашему руководству неважно, будем мы играть или нет новые роли. (…)

Когда он ушел, я долго думала, как подло и возмутительно сложилась наша творческая жизнь в театре. Ведь Вы и я выпрашивали те роли, которые кормят театр. Ваша «Тишина», Ваша «Сэвидж», которую Вы мне подарили…

Мы неправильно себя вели. Нам надо было орать, скандалить, жаловаться в министерство (…) Но… у нас не тот характер. Достоинство не позволяет. Я поправляюсь, но играть особого желания нет. Я вся исколота. (…) Я преклоняюсь перед Вашим мужеством и терпением. Ведь Вас каждый день колят!

Моя дорогая, любимая фея!

Это письмо мне очень захотелось Вам написать.

Я нежно Вас целую, обнимаю, очень люблю. Всегда Ваша Люба Орлова.

В. И. Анджапаридзе.

Моя обожаемая Верико!

С этой запиской посылаю Вам крепкую и нежную любовь, мое восхищение Вами и мою… просьбу!

Зная Вашу занятость и усталость, мне тяжело беспокоить Вас. Но один мой добрый друг просил меня обратиться к Вам с просьбой его принять. Я не могла ему отказать, потому что он

очень мне предан, к тому же он человек хороший. Он – ваш земляк. Я заранее Вас благодарю, человек этот заслужил внимания.

Моя любимая Верико, о себе говорить нет охоты. Живется трудно, одиноко, до полного отчаяния.

Если Мэри еще у Вас, обнимаю ее крепко, как и Вас, моя обожаемая Верико.

Сердечный привет Софико. Ваша преданнейшая вам Раневская.

Теперь перед концом я так остро почувствовала смысл этих слов: «Суета сует и всяческая суета».

Смотрю в окно, ремонтируют старый «доходный дом», работают девушки, тяжести носят на себе, ведра с цементом. Мужчины покуривают, наблюдают за работой девушек, почти девочек. Две появились у меня на балконе, краска душит, мучаюсь астмой. Дала девочкам сластей. Девочки спрашивают: «Почему вы нас угощаете?» Отвечаю: «Потому, что я не богата». Девочки поняли, засмеялись.

Весна 80 г.

Из воспоминаний 80-х годов XX в.

Когда на репетиции в руках моего партнера я вижу смятые, слежавшиеся листки – отпечатанную на машинке роль, которую ему не захотелось переписать своей рукой, я понимаю: мы

говорим с этим человеком на разных языках. Вы подумаете: мелочь, пустяк, но в пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться, на пустяки же, как правило, внимания не тратят.

Партнер для меня все. С талантливыми становлюсь талантливой, с бездарными – бездарной. Никогда не понимала и не пойму, каким образом великие актеры играли с неталантливыми людьми. Кто и что их вдохновляло, когда рядом стоял НЕКТО С ПУСТЫМИ ГЛАЗАМИ.

Моя учительница, П.Л. Вульф, говорила: «Будь благородна в жизни, тогда тебе поверят, если ты будешь играть благородного человека на сцене».

У меня нет интеллигентных знакомых. Любимые умерли. Все говорят одно и то же, всех объединяет быт, вне быта не попадаются, да и я, будучи вне быта, никуда не гожусь.

И зачем я все это пишу? Себе самой. Смертное одиночество.

Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо – не хочется, писать о себе хорошо – неприлично. Значит, надо молчать. К тому же стала делать ошибки, а это постыдно. Я знаю самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю, с этой отдачей…

Умерли мои все, ушло все. Боюсь сойти с ума.

Воспитать ребенка можно до 16 лет, – дома! Воспитать режиссера – может и должна библиотека, музей, музыка, среда, – вкус – это тоже талант, вкус – это основа. Отсутствие вкуса – путь к преступлению.

Для некоторых старость особенно тяжела и трагична. Это те, кто остаются Томом и Геки Финном.

У меня хватило ума ГЛУПО прожить жизнь.

Ушедшие профессии: доктора, повара, актеры.

(Плятту во время репетиции, запись в тетрадке с ролью): Собачку взяли! и у меня счастливый день! Два года ждала собака хозяина, бросившего ее. Я написала доброй женщине, приручившей собаку, словами Чехова: «Какое наслаждение уважать людей». Дни и ночи она была подле покинутой собаки. Не смейся!..

Славочка, Слава, Слава! Ты заметил, какой у бездарных апломб? Однажды в молодости я убила в себе червя тщеславия, – я подумала: раз я не обладаю гением Чаплина, гением Шаляпина, – значит я обычная актриса. И на этом успокоилась. И сейчас в старости веду себя пристойно, без претензий – ролей не выпрашиваю, годами их не получаю. Тяжело мне, как корове, которую забыли подоить. Твоя Р.Ф. 74-й, 75-й, до конца дней.

Сняли на телевидении. Я в ужасе: хлопочу мордой. Надо

теперь учиться заново, как не надо.

Увидала на балконе воробья, – клевал печенье. Стало нравиться жить на свете. Глупо это.

Перечитываю Толстого, – чтоб умнеть – перечитываю Толстого, – это осмысляет мою жизнь теперь. Так он мне дорог, так понятен. Так жалею его – моего Бога. И С. А. тоже жалко, жалко иначе, – но очень жалко.

Зимой, когда могилы их покрыты снегом, еще больнее, еще нетерпимей, все там. Сейчас ночь, ветер и такое одиночество, такое одиночество. Скорей бы и мне. Сегодня изорвала все, что писала три года, книгу о моей жизни, ни к чему это. И то, что сейчас записала, – тоже ни к чему.

Когда я слышу «приглашение» «приходите потрепаться» – мне хочется плакать.

Я вообще заметила, что талант всегда тянется к таланту, и только посредственность остается равнодушной, а иногда даже враждебна таланту.

Горький говорил, «талант – это вера в себя», а по-моему, талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

Ленинград без Ахматовой для меня поблек, не могу себя заставить съездить на ее холмик взглянуть. Зачем?? У меня в ушах ее голос, смех. (…) В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я об этом сказала Анне Андреевне. – «Сжала руки под темной вуалью…» – это тоже мои «мули», – сказала она. (…) Ахматова чудо. Оценят ли ее потомки? Поймут ли? Узнают ли в ней гения? Нет, наверное.

Не пишу, так как очень люблю ее.

Мне везло на людей в долгой моей жизни, редкостно добрых, редкостно талантливых. Никого из них уже со мной нет. Сейчас моя жизнь – воспоминания об ушедших.

Из беседы с В. Ардаматским

«Она родилась в очень богатой семье, настолько богатой, что в 1917 году семья эмигрировала на собственном пароходе».

Ради Бога, не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упаси. Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с побледневшими

лицами декламировали горьковского «Буревестника» и любили повторять слова нашего земляка. Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра… Господи, мать рыдает, я рыдаю, мучительно больно, страшно, но своего решения я изменить не могла, я и тогда была страшно самолюбива и упряма. (…) И вот моя самостоятельная жизнь началась.

(…) Боже, какое это было страшное и неповторимо красивое время. Красные приближались, по ночам в городе слышалась стрельба, а мы в полупустом театре играли какие-то нелепые водевили. И был свирепый голод… Моя подружка на сцене упала в голодный обморок. (…)

Однажды за кулисы к нам пришел грозный усатый комиссар. Он поблагодарил нас за работу для красноармейцев и вдруг спросил: не можем ли мы сыграть для них что-нибудь из классики? Через несколько дней мы сыграли чеховскую «Чайку». Нетрудно представить, что это был за спектакль по качеству исполнения, но я такого тихого зала до того не знала, а после окончания зал кричал «ура». (…) После к нам за кулисы снова пришел комиссар, он объявил: «Товарища артисты, наш комдив в знак благодарности вам и с призывом продолжать ваше святое дело приказал выдать вам красноармейский паек».

(…) Свое по театрам исходила в 20, 30-е годы, была я тогда молодой провинциальной актрисой, которой судьба подарила Москву в пору буйного расцвета театров. Каждый свободный вечер – в театре. Моя унылая носатая физиономия всовывалась в окошечко какого-то театрального администратора, и я печальным контральто произносила, заглядывая в металлические глаза: «Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре». Действовало безотказно. Правда, при попытке пройти в один театр вторично администратор мне посоветовал дважды не появляться: «Вы со своим лицом запоминаетесь». В то время я перенесла помешательство на театрах Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Охлопкова, Вахтангова. Прежде всего я стремилась увидеть Бабанову, Глизер, Мансурову, Гоголеву, Добржанскую, Андровскую, Книппер-Чехову и других. Боже, как постыдно я завидовала им, но, придя домой в свою комнатушку на Пименовском, я «играла» их роли, как бы примериваясь: «А я могла бы?» Из всех театров на особом месте у меня стоял МХАТ, на его спектакли я ходила как в театральный университет, многие смотрела по нескольку раз. Однако причиной тому стало одно непредвиденное обстоятельство: я влюбилась в Качалова,

влюбилась на тяжкую муку себе, ибо в него влюблены были все и не только женщины. Однажды я подкараулила Качалова у служебного входа в театр и пропела ему свою печальную арию о провинциальной актрисе, которая никогда не была в хорошем театре. К. выслушал, вглядываясь с улыбкой, и, взяв, меня под локоть, сказал: «Идемте со мной». Он провел меня в театр за кулисы и показал там место: сидите здесь, но тихо. Шел спектакль «На дне», который я уже смотрела. Нет у меня слов, чтобы передать те мои закулисные переживания среди запахов клея и краски… Но вот по ходу действия со сцены за кулисы вышел К. И прямо ко мне: «Сидите? Ну, сидите, только тихо». Боже, в темноте кулис мне виделась радуга! А когда спектакль окончился, он снова подошел ко мне: «Ну, провинциальная, пошли домой!» Я проводила его до дома, и радуга шла вместе со мной. Но путь оказался очень коротким. Только и спросил он у меня, в какой провинциальной труппе я играю, и я, теряя дыхание, выпалила: «В таганрогской, ростовской и симферопольской!» К. остановился и посмотрел на меня явно подозрительно, и тогда я, запинаясь (когда я волнуюсь, я всегда заикаюсь), пояснила, что в этих театрах я играла в разное время. Качалов рассмеялся: «Ладно, артистка трех театров, в субботу приходите к театру, я добуду вам контрамарку. Пойдет «Вишневый сад». Надо ли говорить, что в субботу я заняла пост у служебного входа в театр еще в обеденное время. (…)

Однажды я увиделась с К. сразу после спектакля «Воскресение», где он блистательно исполнял роль «от автора». Он был мрачен… «Я сгораю от стыда, – начал он глухим, совсем не своим голосом. – Сегодня я читал невыносимо плохо, барахтался на поверхности толстовского текста, а погрузиться в его глубину не мог. А так все было как всегда: напряженно внимающий зал, аплодисменты и у служебного входа поклонники просят автограф, но я пробежал мимо них, не поднимая глаз, как последний обманщик.» – «Не верю, что вы можете играть плохо». Он печально и сердито взглянул на меня: «Несерьезный, непрофессиональный комплимент, сударыня. У каждого, даже у зело опытного актера бывает – вдруг сыграет роль плохо, но если после этого уйдет со сцены спокойный, без тревоги и стыда, он вообще не актер, а ремесленник, постигший приемы обмана публики, – но обмануть себя при этом, – это уже катастрофа». – Милый Василий Иванович, вот как поздно я благодарю Вас за тот высокий урок.

Я как обычно приехала в театр за три часа до занавеса. Сижу у себя, сосредоточиваюсь. Вдруг слышу оживленный разговор

двух актрис в соседней комнате. Знаете, о чем они говорили? О том, что есть какой-то Борис Борисович, который может достать дубленку по умеренной цене, но что рискованно давать ему деньги вперед. Я не выдержала, заглянула в их комнату: «Как можно перед выходом на сцену обсуждать проблему дубленки?» Они, пожалуй, моему вопросу удивились. «Фаина Георгиевна, да что Вы? Жизнь есть жизнь». «А театр это храм!» – крикнула я. Почти уверена, что они потом говорили о том, что Раневская, видать, совсем выжила из ума. Но ведь их же учили актерскому мастерству, и неужели никто не объяснил им, что такое творческая дисциплина и самодисциплина актера? Вот сижу теперь и думаю, как возможно, почему возможно такое.

Вообще я не умею и не люблю давать интервью. У меня всегда такое ощущение, что корреспонденты задают мне вопросы такого типа: скажите, товарищ Раневская, сколько будет дважды два? И мне хочется ответить: будет пять. Я же Раневская, и корреспонденты, я думаю, ждут от меня какой-нибудь хохмы.

Дорабатывая спектакль «Шторм», Завадский решил роль спекулянтки изъять. Я спросила у него, почему. Он как-то странно улыбнулся и ответил: «Это вызвано и вами. Вы слишком хорошо играете свою роль спекулянтки, и от этого она запоминается чуть ли не как главная фигура спектакля. А пьеса и спектакль о чем-то гораздо большем, и в этом большем дивертисмент со спекулянткой становится чуждым». Я позволила не согласиться и начала бормотать, что моя спекулянтка такой же враг революции, как и все другие действующие в спектакле враги. «Все дело в акценте», – холодно обронил Ю.А. Я вдруг ляпнула: «Если нужно для дела, я буду играть свою роль хуже». Завадский весь порозовел и сказал: «Вы провоцируете меня на заведомо глупый разговор, я считаю за лучшее закончить его своим молчанием. Но и Вас, Фаина Георгиевна, я просил бы завершить эту историю молчанием. Я же знаю Ваш язык».

О ВОЛОШИНЕ

Вспомнилась встреча с Максимилианом Волошиным, о котором я читала в газете, где говорится, что прошло сто лет со дня его рождения.

Было это в Крыму в голодные трудные годы времен гражданской войны и военного коммунизма.

Мне везло на людей в долгой моей жизни, редкостно добрых, редкостно талантливых. Никого из них уже со мной нет. Сейчас моя жизнь – воспоминания об ушедших.

Все эти дни вижу Макса Волошина с его чудесной детской и

какой-то извиняющейся улыбкой. Сколько в этом человеке было неповторимой прелести!

В те годы я уже была актрисой, жила в семье приютившей меня учительницы моей и друга – прекрасной актрисы и человека Павлы Леонтьевны Вульф. Я не уверена в том, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Волошин.

С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называвшиеся комсой, был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом, была там и бутылочка с касторовым маслом, с трудом им раздобытым в аптеке. Рыбешки жарили в касторке, это издавало такой страшный запах, что я, от голода теряя сознание, все же бежала от этих касторовых рыбок в соседние дворы.

Помню, как он огорчался этим и искал иные возможности меня покормить. Помню его нежнейшую доброту, до сих пор согревающую меня, хотя с того времени прошло более полувека.

Не могу не думать о Волошине, когда он был привлечен к работе в художественном совете Симферопольского театра. Он порекомендовал нам пьесу «Изнанка жизни». И вот мы, актеры, голодные и холодные, так как театр в зимние месяцы не отапливался, жили в атмосфере искусства с такой великой радостью, что все трудности отступали.

Однажды, когда Волошин был у нас, к ночи началась стрельба оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату, утром он принес нам эти стихи «Красная Пасха»: «Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей. И стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. Восточный ветер выл в разбитых окнах. А по ночам стучали пулеметы, свистя, как бич, по мясу обнаженных мужских и женских тел». Это было в Симферополе 21 апреля 1921 года. На заплаканном лице его была написана нечеловеческая мука.

Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком.

ОБ АХМАТОВОЙ

Вот что вспоминается.

Анна Андреевна лежала в Боткинской больнице (в тот период моей жизни я еще могла входить в больницу).

Часто ее навещала. Она попросила меня приехать после похорон Пастернака и рассказать ей все, что я видела. Она спрашивала, как все происходило. Горевала.

Смерть Бориса Леонидовича ее очень угнетала. Я делилась с ней моими впечатлениями и сказала, что была нестерпимая

духота, что над нами, над огромной толпой висели свинцовые тучи, и дождя не было, что гроб несли на руках до самой могилы, что Борис Леонидович во гробу был величавый, торжественный.

Анна Андреевна слушала внимательно, а потом сказала: «Я написала Борису стихи».

Запомнила не все, но вот что потрясло меня:

Здесь все принадлежит тебе по праву. Стеной стоят дремучие дожди. Отдай другим игрушку мира – славу, Иди домой и ничего не жди!

Да, висели дремучие дожди, и мысли у всех нас были о славе, которая ему больше не нужна…

В Комарове она вышла проводить меня за ограду дачи, которую она звала «моя будка».

Я спешила к себе в Дом отдыха, опаздывала к ужину, она стояла у дерева, долго смотрела мне вслед.

Я все оборачивалась, она помахала рукой, позвала вернуться.

Я подбежала. Она просила меня не исчезать надолго, приходить чаще, но только во вторую половину дня, так как по утрам она работает, переводит.

Когда я пришла к ней на следующий день, она лежала. Окно было занавешено. Я подумала, что она спит.

– Нет, нет, входите, я слушаю музыку, в темноте лучше слышится.

Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей «станция Ахматовка». Когда я заставала ее на даче в одиночестве, она говорила: «Человека забыли!». Когда тяжко заболела Н. Ольшевская – ее близкий друг, она сказала: «Болезнь Нины – большое мое горе».

Она любила семью Ардовых и однажды в Ленинграде сказала, что собирается в Москву, домой, к своим, к Ардовым.

…В Ташкенте писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней сделали в 46-м году, потом пьесу сожгла. Через много лет восстановила по памяти.

В Комарове читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философию, но ощущала, что это нечто гениальное. (Пьеса не была закончена. – *М. Г.*)[1]

Она спросила, могла бы такая пьеса быть поставлена в театре?

В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро

ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Анне Андреевне. «Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой Муля!» Я спросила: «Анна Андреевна, а что у вас «Муля»?». Она подумала и сжала руки под темной вуалью. (Речь идет об известном стихотворении Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…». – *М. Г.*). Я закричала: «Не кощунствуйте!».

– Вот, вам известен еще один эпизод… – ответила она тихо.

В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

– Пока мне не отрубили голову, я истоплю вам печку.

– У меня нет дров, – сказала она весело.

– Я их украду!

– Если вам это удастся – это будет мило, – ответила она.

Большой каменный саксаул не влезал в печку. Я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне платить нечем. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги – что, деньги – это еще не все!»

Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне. «А я сейчас встретила Платона Каратаева». – «Расскажите». – «Спасибо, спасибо», – повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова.

У нее оказалось немного картошки. Мы ее сварили и съели. Я никогда не встречала более кроткого, непрезентабельного человека, чем она.

В Ташкенте мы были приглашены обе к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно.

И потом через много лет она говорила: «А вы помните, как в комнату пришел баран и как это было удивительно; почему-то я не могу забыть этот вход барана».

Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда», – рассердилась она.

Одно время я записывала все, что она говорила. Она это заметила, попросила показать ей мои записи. «Вы себе представить не можете, Анна Андреевна», – сказала я ей. «Мадам, вам 11 лет и никогда не будет 12», – ответила она и долго смеялась.

Я растапливала дома печку и по ошибке вместе с другими бумагами сожгла все, что записала, а сколько там было замечательного!..

В 46-м году я к ней приехала. Она открыла мне дверь, потом легла, тяжело дышала. Об этом мы не говорили. Через какое-то время она стала выходить на улицу и, подведя меня к газете, прикрепленной к доске, сказала: «Сегодня хорошая газета, меня не ругают». Долго молчала. «Скажите, Фаина, зачем понадобилось всем танкам проехать по грудной клетке старой женщины?» Опять помолчала. Я пригласила ее пообедать. «Хорошо, но только у вас в номере». Очевидно, боялась встретить знающих ее в лицо. В один из этих страшных ее дней спросила: «Скажите, вам жаль меня?» «Нет», – сказала я, боясь заплакать. «Умница, меня нельзя жалеть».

Про чудесного писателя, которого, наверное, хотела видеть в числе друзей, сказала: «Знаете, о моей смерти он расскажет в придаточном предложении, извинится, что куда-то опоздал, потому что трамвай задавил Ахматову, он не мог продраться через толпу, пошел другой стороной».

Однажды сказала: «Что за мерзость антисемитизм, это для негодяев – вкусная конфета, я не понимаю, что это, бейте меня, как собаку, все равно не пойму».

Иногда она бранила меня, я огрызалась. Она говорила: «Наша фирма – «Два петуха!»

Там, куда приходила Анна Андреевна в Ташкенте, где я жила с семьей «во время войны, во дворе была громадная злая собака. Анна Андреевна боялась собак. Ее загоняли в будку. Потом, при виде Анны Андреевны собака сама пряталась по собственной инициативе. Анну Андреевну это очень забавляло. «Обратите внимание – собака при виде меня сама уходит в будку».

Она была удивительно доброй. Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждущие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо, неповторимо прекрасное, делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется невежественный нахал…

Я отдыхала с Анной Андреевной в доме писателей «Голицыно». Мы сидели в лесу на пнях. К ней подошла седая женщина, она назвала себя поэтом, добавив, что пишет на еврейском языке и что ее зовут «еврейской Ахматовой». «Тогда приходите ко мне сегодня же к вечеру, дайте мне ваши стихи, и я их переведу». Они условились о встрече. (Речь идет о поэтессе Рахиль Баумволь, чьи стихи переводила А. Ахматова. – *М. Г.*).

Однажды я позвонила ей по телефону. Она была в Москве. Я сказала ей, что сегодня видела во сне Пушкина. Она крикнула в трубку: «Иду!» Примчалась на такси, чтоб услышать мой сон.

Арсения Тарковского очень любила и ценила и как человека, и как поэта. Арс. Тарковский прислал мне свою последнюю книжку стихов. Я позвонила, благодарила. Он мне сказал: «Нет Анны Андреевны, мне некому теперь читать мои стихи».

Умирая, А. Ахматова кричала: «Воздуха, воздуха!» Доктор сказала, что, когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она уже была мертвой. Смерть Анны Андреевны – непривычное, свежее мое горе. В гробу ее не видела, вижу перед собой ее живую.

Ленинград без Ахматовой для меня поблек, не мо– гу себя заставить съездить на ее холмик, взглянуть.

У меня в ушах ее голос, смех. В Комарове в прошлом году я бежала к ней, она, увидев меня из окна, протягивала руки и говорила: «Дайте мне Раневскую!»

Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь вы дружили. Отвечаю: «Не пишу, потому что очень люблю ее!»

Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружили, но я просто не могла бы обратиться к ней так фамильярно.

Ока была великой во всем. Я видела ее кроткой, мягкой, заботливой. И это в то время, когда ее терзали.

ОБ ОСИПЕ АБДУЛОВЕ

Тяжело мне писать об Осипе Наумовиче Абдулове, потому что очень я его любила. Тоскую и скучаю по нем по сей день. За многие годы жизни в театре ни к кому из актеров не была так привязана.

Это был актер редкостного дарования и необыкновенной заразительности. Играть с ним было для меня наслаждением.

Осип Наумович уговорил меня выступать с ним на эстраде. С этой целью мы инсценировали рассказ Чехова «Драма». Это наше совместное выступление в концертах пользовалось большим успехом. Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров.

Когда не стало Осипа Наумовича, я через некоторое время начала играть с другими партнерами, но вскоре прекратила выступать в этой роли. Успеха больше не было. И все роли, в которых прежде играл Осип Наумович, в исполнении других актеров проходили незамеченными.

Зрители знали и любили Осипа Наумовича Абдулова по театру, кино, эстраде. Мне посчастливилось часто видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покоряло меня. Он

любил шутку. Шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить.

За долгую мою жизнь я не помню никого, кто мог бы без малейшего усилия шуткой привести в радостное, хорошее настроение опечаленного друга.

Как актер он обладал громадным чувством национального характера. Когда он играл серба – был подлинным сербом («Министерша»), подлинный англичанин – «Ученик дьявола», подлинный француз – «Школа неплательщиков», подлинный грек – «Свадьба» Чехова.

Я часто сердилась на Осипа Наумовича за то, что он непосильно много работает, не щадя себя. Он объяснял мне свою кипучую деятельность потребностью постоянного общения со зрителем. Он на все мои нападки неизменно отвечал: «В этом смысл моей жизни».

Однажды после окончания ночной съемки в фильме «Свадьба» Чехова, где он чудесно играл Грека, нам объявили, что машины не будет и что нам придется добираться пешком домой. Осип Наумович сердился, протестовал, долго объяснялся с администратором, но, тут же успокоившись, решил отправиться домой, как был в гриме: с черными усами и бровями, в черном парике и турецкой феске.

По дороге он рассказывал мне какую-то историю от лица своего Грека на языке, тут же им придуманном, свирепо вращал глазами и отчаянно жестикулировал, невероятно пугая идущих на рынок домашних хозяек.

Это была не только озорная шутка, это было творчество, неуемный темперамент, щедрость истинного таланта.

Наша прогулка продолжалась бы дольше, если бы изумленный нашим видом милиционер категорически не потребовал, чтобы мы немедленно шли домой!

Об Александре ТАИРОВЕ и Алисе КООНЕН

Мне посчастливилось быть на спектакле «Сакунтала», которым открывался Камерный театр. Это было более полувека тому назад, но это ослепительное зрелище, солнечное, праздничное, видится и помнится мне по сей день. Роль Сакунталы исполняла пленительная, вдохновенная Алиса Коонен.

С тех пор, приезжая в Москву (я в то время была провинциальной актрисой), неизменно преданная Камерному театру, я пересмотрела почти все его спектакли. Все это было тоже празднично, необычно, все восхищало, и мне захотелось работать с таким мастером, в таком особом театре. Я отважилась об этом написать Александру Яковлевичу, впрочем, не надеясь на

успех моей просьбы.

Он ответил мне любезным письмом, сожалея о том, что в предстоящем репертуаре для меня нет работы. А через некоторое время он предложил мне дебют в пьесе украинского драматурга Кулиша «Патетическая соната». В спектакле должна была играть А.Г. Коонен. Это налагало особую ответственность и очень меня пугало.

Дебют в Москве! Как это радостно и как страшно! Я боялась взыскательных столичных зрителей, боялась того, что роль мне может не удастся.

В то время Камерный театр только что возвратился из триумфальной поездки» по городам Европы и Латинской Америки, и я ощущала себя убогой провинциалкой среди моих новых товарищей. А когда появились конструкции и мне пришлось репетировать на большой высоте, почти у колосников, я чуть не потеряла дара речи, так как страдаю боязнью пространства. Я была растерянна.

Александр Яковлевич, внимательно следивший за мной, увидел мою растерянность, почувствовал мое отчаяние и решил прибегнуть к особому педагогическому приему. Стоя у рампы, он кричал мне: «Молодец! Молодец, Раневская! Так!.. Так… Хорошо! Правильно! Умница!»

И, обращаясь к моим партнерам на сцене и сидевшим в зале актерам, сказал: «Смотрите, как она умеет работать! Как нашла в роли то, что нужно. Молодец, Раневская!»

А я тогда еще ничего не нашла, но эти слова Таирова помогли мне преодолеть чувство неуверенности в себе. Вот если бы Таиров закричал мне тогда «не верю» – я бы повернулась и ушла со сцены навсегда!

В день премьеры, прошедшей с большим успехом, я не смогла (просто не решилась – было страшно) спуститься «на поклоны» с моей верхотуры и кланялась, стоя наверху, под колосниками. Когда занавес закрылся и аплодисменты стихли, я увидела, что Александр Яковлевич, запыхавшись, быстро, хотя и с трудом поднимается по узкой, шаткой лестнице ко мне. Взволнованный, он обнял, поздравил, похвалил меня и почти на руках спустил меня вниз.

Вспоминая Таирова, мне хотелось сказать о том, что Александр Яковлевич был не только большим художником, что хорошо известно и у нас и за рубежом, но еще и Человеком большого доброго сердца. Чувство благодарности за его желание мне помочь я пронесла через всю жизнь.

Помнится мне еще одна встреча с ним. Это было уже в другое время – трудное время войны. Я тогда работала в другом театре,

но с Александром Яковлевичем и Алисой Георгиевной дружила крепко и часто бывала у них. Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа мимо артистических уборных, Александр Яковлевич вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой: «Знаете, дорогая, похоже, что театр кончился: в театре пахнет борщом».

…Вскоре после закрытия театра Алиса сказала: «Фаина, если бы был жив Станиславский, неужели я бы осталась без театра?» Она сдерживала слезы, говоря это. Я умоляла Завадского пригласить Алису, он решительно отказал. Таиров был уже смертельно болен.

Не могу без содрогания вспомнить их прелестный дом, в котором я бывала раньше, и разрушение его после смерти Алисы. Распродажу вещей, суету вокруг вещей. Гадко и страшно мне было.

О ВЕРЕ МАРЕЦКОЙ

С Верой Петровной Марецкой меня связывала многолетняя дружба. Я очень любила ее редкостное дарование, ее человеческую прелесть, юмор, озорство. Все было в ней гармонично и пленительно.

Впервые я увидела ее в фильме «Закройщик из Торжка». Это было давно, но мне по сию пору видится удивленное лицо девушки, держащей в руках гуся. Она с любопытством рассматривала незнакомую ей улицу. Все ее удивляет, забавляет. Я тогда же подумала с радостью о том, что у нас появилась молодая актриса редкостного таланта.

Увидев знакомого кинорежиссера, спросила, что это за прелесть с гусем, кто она. И впервые услышала ставшее дорогим всем нам имя Веры Петровны Марецкой.

Мне вспоминается ее роль француженки в пьесе «Школа неплательщиков», где была она подлинной француженкой, столько было в ней прелести, изящества, столько пленительного.

Прошли десятилетия, а я вижу ее сейчас в этой роли. Кажется, Гейне говорил; «Актер умирает дважды». Теперь это не так благодаря кино и телевидению.

С Верой Петровной я никогда не скучала, с ней было весело и любопытно. Она относилась ко мне тоже сердечно и заботливо. Она называла меня «Глыба!»

Это память, а память не нуждается в шлифовке

ЭТО ПАМЯТЬ,
А ПАМЯТЬ НЕ НУЖДАЕТСЯ
В ШЛИФОВКЕ

Спешите делать добро

Марина Неёлова

Я открыла свою старую тетрадку и переписала оттуда почти все, что записано мной сразу после встреч с Фаиной Георгиевной Раневской. Это память, а память, как мне кажется, не нуждается в шлифовке.

Сегодня разговаривала с Фаиной Георгиевной Раневской – комок в горле, до сих пор не могу прийти в себя от нее, уже будто «уходящей» и говорившей, что ей уже пора, что «все позади» и в этом «позади» так мало хорошего! А какой при этом светлый ум, так остро воспринимающий все окружающее, так точно все характеризующий, добрый и нежный! Почему раньше не была с ней знакома, как много она могла бы мне дать, как давно я хотела этого, сколько времени пропущено, – дай бог ей здоровья и нам радости общения с ней! Может быть, это разговор с ней не дает мне сейчас спать, и мучаюсь ее старостью, ее болями, ее одиночеством и боюсь, так боюсь за нее, как могла бы только за очень мне близкого человека, которого очень давно знаю. Дай ей бог!

* * *

Как хочется что-то сделать для нее, чем-то порадовать, побыть с ней, никуда не торопясь, посидеть на диване под фотографиями, – «это самое дорогое, что у меня есть». И это понятно: Ахматова, Пастернак, Шостакович, Цветаева, Уланова – вся стена увешана этими фотографиями с дарственными надписями, фотографии приколоты к обоям иголками для внутривенных уколов, и в углу около кресла под торшером – фотографии собак, которых так любила Фаина Георгиевна. Позже, когда Фаина Георгиевна попросила меня принести свою фотографию, я, понимая, что не могу претендовать на эту «стену», попросила повесить мою среди собак, и надо сказать, выглядела там вполне органично.

Удивительно сочетается в этом человеке множество почти несоединимых черт: необычайная эмоциональность и трезвый острый ум, поразительные оценки, точные, подчас желчные характеристики и невероятная наивность, нежность, мудрость, кокетство, детскость, откровенность (о себе и других), жестокость

и удивительная обидчивость, мнительность, ранимость, часто безапелляционность – и вдруг боязнь обидеть, огорчить, бессребреность и доброта душевная! Такое чувство, что я старше ее и обязана оберегать.

* * *

«Паспорт человека – это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть 18 лет, а паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как 18-летний человек!»

Много говорили о Цветаевой. Фаина Георгиевна подарила мне очень дорогую для нее и для меня книгу с надписью: «Марине – Марину с любовью к обеим». Читаю ее сейчас, читала и до, но теперь читаю со взглядом и через Фаину Георгиевну.

Фаина Георгиевна! Фаина Георгиевна! – всегда открытая дверь – заходите – собака Мальчик, ласкательно Маня – самое близкое существо – «если его не станет, я умру», – Мальчик, живи вечно!

Цветы в почти пустой квартире, пустой холодильник (все продукты отданы кому-то, «а мне все равно ничего нельзя», пакеты с пшеном на подоконнике – для птиц и птичек (предпочитаются воробьи), книги, книги, книги – везде, на столе и на столике, в постели, на стуле, на диване, – книги, которые еще не раздарены и не украдены (дверь же открыта – бери, что видишь), – Томас Манн и Даррелл, Диккенс, конечно, Пушкин, книги на французском языке рядом с альбомом про собак, «Новый мир» и газеты, очки и на всех обрывках листков, на газетных белых полях, на коробках – записанные, зафиксированные, в эту секунду пришедшие мысли или воспоминания, а иногда и несогласие с кем-то.

«Фаина Георгиевна, почему вы не написали или не пишете книгу про всех про вас, про всех, кого вы знали, любили, видели?» И – ответ: «Написала, прочла и (шутя, как всегда) – поняла, что Толстой писал лучше, и из самолюбия разорвала все написанное». Хоть бы это была ее фантазия, хоть бы не разорвала! Сидим, говорим про Цветаеву (вернее, я задаю вопросы, а говорит Фаина Георгиевна), про Ахматову, про то, что, долго читая Цветаеву, устает, а потом «отдыхает» на Ахматовой, что Анна Андреевна человечнее и понятнее, что Марина Цветаева – гений и всегда не здесь, даже слушая, смотрит «насквозь, куда-то «в свое», что невероятно умна, своеобразна, одна такая и не как все.

А я смотрю, слушаю Фаину Георгиевну и думаю, что ей и правда 18 лет, – я старше, но глупее. После общения с ней как

будто надышалась кислородом и немного кружится голова. После подобных встреч очень трудно становится общаться с кем-то, переоценка и заниженность их – совершенно другой мозговой и сердечный уровень.

«Не могу сейчас ни с кем общаться, не хочу никого видеть – все только про что где достать – никакой души».

«Моя собака живет, как Сара Бернар, а я как сенбернар». И правда: и собака, и цветы, и птицы не одиноки так, как она, страшное слово – одиночество, – произнесенное ею без желания вызвать сострадание, а так, скорее констатация – «девочка, если бы вы знали, как я одинока». И сердце сжимается, когда это слышишь именно от нее, от человека, любимого всеми.

Пушкин, «Пушкин не человек, это планета».

«Не сплю, сон покинул меня, страшная бессонница, думаю, страдаю, вспоминаю все ночами, жизнь прошла, а я не сыграла своей роли!»

Сидит в кресле, днем, с зажженным торшером, читает, читает без конца, беспокоится о Мальчике, кормит птиц, почти ничего не ест, глаза мудрого ребенка, теплые и чуть-чуть ироничные, грустные и улыбающиеся, вдруг… и вдруг озаренные каким-то воспоминанием или внезапно пришедшей в голову шуткой, и сама уже та-ак заразительно смеется, глядя на смеющуюся меня.

Приезжаю от нее домой. Звонок – Фаина Георгиевна: «Как вы доехали, я беспокоилась?» Я: «Не успела позвонить». А она успела. Вся в этом.

Жажда и потребность любить, ждать, быть нужной.

* * *

– Фаина Георгиевна, вы верите в Бога!

– Я верю в бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, то дело рук Божьих.

Звонит мне утром, и я, не проснувшаяся, – басом:

– Фаина Георгиевна, можно я вам перезвоню чуть позже?

Перезваниваю.

– Деточка, что с вашим голосом? Вы пили всю ночь?!

– Я не пью, Фаина Георгиевна,

– Спасибо.

– ?!?!?!

– Боюсь за вас, только не пейте!

– ?!?!

– Я так испугалась вашего голоса, я боюсь, что после спектакля вы идете в ресторан и гуляете!

– Фаина Георгиевна, дорогая, это невозможно, я в рестораны не хожу вообще, не люблю этого, и это может для меня быть только как наказание.

– Спасибо, деточка, не растрачивайте себя впустую, прошу вас.

Милая Фаина Георгиевна, нежный человек, с нерастраченной любовью, вернее, с запасами ее неиссякаемыми!

– И снимайтесь реже в кино: когда мне снится кошмар – это значит, я во сне снимаюсь в кино. И вообще, сейчас все считают, что могут быть артистами только потому уже, что у них есть голосовые связки. – Читает на обороте книжки чье-то изречение: – «Искусство – половина святости». Нет, я бы сказала иначе: искусство – свято.

* * *

Была у Фаины Георгиевны, провела с ней день: завтракали, обедали, говорили и даже играли: нечто вроде ее импровизации и моего подыгрыша. Пригласила ее на спектакль «Спешите делать добро».

– Деточка, я почти не выхожу из дома, и к тому же я не могу оставить Мальчика одного: он скучает.

– Тогда можно я вам здесь все сыграю?

Господи, как же хорошо для нее играть! Сидим на кухне, она в бывшем французском халате (ему 100 лет, вижу, что одет на левую сторону, но не по ошибке, а из каких-то соображений, цвет мой любимый – фиолетово-сиреневый), извиняется, что в таком халатном виде, я говорю, что ей он идет, и тут же в ответ:

– Деточка, что мне сейчас идет, кроме гробовой доски?! А вы знаете, что он одет у меня на левую сторону?!

– Знаю.

– Откуда?

– У вас Карман внутри.

– Правильно!!!

И хохочет так восторженно, как будто я только что родила какую-то невероятную шутку!

Боже мой, как я счастлива, когда стою у плиты в этой ее кухне, вижу, а скорее, чувствую, как она смотрит на меня, играющую монологом весь спектакль «Спешите…», как потом она молчит, а я и не жду слов – мне ее слезы и ее молчание дороже множества похвал: быть таким зрителем – это особый талант, это еще один особый дар, который у нее есть.

– А вы знаете, что мне говорила Ахматова? – «Милуша, вам

только 11 лет и никогда не будет 12 и не надейтесь и не расстраивайтесь: Бореньке (Пастернаку) всего 4.

– А старость – это просто свинство, я считаю, что это невежество бога, что он позволил доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу, Бирман, и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри 18, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!

– Деточка, снимите шапочку!

– Я без шапки, это мои волосы.

– Боже! Такое маленькое личико и так много волос, личико, как куриный пупик, нет, даже воробьиный, тогда выстригите немного волос, а потом – такой лоб, его нельзя скрывать, им нужно гордиться.

Потом вдруг лицо становится незнакомым и – со страшным украинским говором: «Ну, погадай, выйду я взамуж или нет, ну, у меня же ж и деньги имеются, а то взамуж страх как хочется, я ж заплачу…»

* * *

На той, подаренной мне Фаиной Георгиевной книжке на первом листке рукой Фаины Георгиевны написано: «Вспомнилась молодая Марина, а потом постаревшая, усталая, вернулась из Парижа, другая Марина, постарше, но Марина. Я плакала, Марина утешала, потом война, я увезла близких в Ташкент, Марину все бросили, Марина удавилась в Елабуге. Моя всегдашняя мука Марина».

Прошу рассказать про их встречу… Рассказывает, будто это было вчера.

– Вхожу в дом, где обещали встречу с Мариной. Где же она?! За столом пожилая, седая женщина сидит, закрыв лицо руками. Где Марина Цветаева?

– Я Марина Цветаева.

Как воспитанный человек, делаю вид, что узнала. Не узнаю совсем. Изменилась.

– Вы меня не узнаете, Марина?

Делая вид, что узнала:

– Узнаю.

– Я Фаина Раневская.

– Господи!

Стоим, плачем, обнявшись, посередине комнаты.

Получила деньги, тогда – 5000 рублей, зарплата. Еду к

Цветаевой, говорю, получила деньги, хочу поделиться – расцвела.

Пачка в сумке, в банковской упаковке, рукой незаметно пытаюсь ее разорвать, чтобы поделить пополам, она не поняла (не заметила? – слава богу!) и взяла всю пачку.

– Фаина, спасибо, я знала, что вы добрая!

Стою, замерев, не знаю, что делать, что принесу домой, на что будем жить целый месяц всей семьей, что скажу? Продаю свое колечко и прихожу домой с зарплатой.

Какое счастье, что я тогда не успела поделить пополам, что отдала все!! После ее смерти на душе чувство страшной вины за то, что случилось в Елабуге!

* * *

19 июля. Вот и все… Уже никогда больше не пойду к Фаине Георгиевне Раневской. Была сегодня, и это был последний раз, хотя каждый раз, уходя от нее, боялась, что это последний. «Вы можете пойти к ней в четверг или субботу, она обрадовалась, узнав, что вы придете». Еду страшась: вдруг сегодня действительно не узнает, вдруг нельзя будет видеть?

Пожатие, как ни странно в таком состоянии и положении, крепкое и приятное. Стою, глажу ее руку, а другая – в рукопожатии неотпускаемом. Иногда, в середине фразы, как будто находит забытье, кажется, что, устав, она заснула, но вдруг, сразу, без «просыпания», продолжение разговора:

– Что у вас в театре?

– «Вирджиния Вульф».

– Как хорошо, что где-то репетируются хорошие пьесы.

Собирается консилиум, решают делать операцию. Оторвался тромб. Фаина Георгиевна: «Нет, не хочу».

– Это чтобы вы встали быстрее на ноги и не хромали.

– А вы что, думаете, что я собираюсь играть «Даму с камелиями»? Нет, не собираюсь.

Врачи просят на утомлять.

Мне пора ехать на спектакль «Спешите делать добро». Иду прощаться. Целуйю руки, лоб, щеку.

– Благослови вас господь, девочка, будьте счастливы!

А в 10.30 Фаины Георгиевны уже нет. Она без нас, а мы остались без нее!

Потеря!

А Мальчик, слышавший столько стихов на французском языке («Мой Мальчик знает всю французскую поэзию»). Мальчик, за которого так боялась Фаина Георгиевна, – жив!

* * *

Сегодня 40 дней со дня смерти Фаины Георгиевны.

Поразительное явление Фаина Георгиевна: каждый из нас настолько точно знает, чего бы она не допустила, будь она с нами, что даже понятие поминки приобретает совершенно другой знак. Все стали вспоминать какие-то истории, связанные с Фаиной Георгиевной, ее рассказы, ее фантазии, шутки и про книгу Фаины Георгиевны, которая так никогда и не была написана, вернее, была разорвана: «Я не хочу, чтобы кто-то читал мою жизнь!» Жаль, она замечательно писала, а впрочем, все, за что она бралась, было талантливо. Фаина Георгиевна однажды ни с того ни с сего купила школьную акварель и стала рисовать, и замечательно! Кто-то даже пришел к мнению, что это ранний Ван Гог, но по крайней мере все утверждают, если не могут назвать точную фамилию, это… это рука профессионала. «За это ручаемся».

А сколько забавных мордочек в ее настольной тетради-календаре: так рисуют дети или очень талантливые взрослые – характеры, взгляды, реакции, образы – все глазами Фанны Георгиевны, некоторые с подписями, некоторые зачеркнуты ею же! Не хотела, чтобы потом прочитал кто-то посторонний. На одной странице жестокая характеристика одного режиссера. «Он великий человек, он один вместил в себя сразу Ноздрева, Собакевича, Коробочку, Плюшкина – от него исходит смрад».

Я все время вспоминаю одну ее фразу, сказанную однажды и не привязанную ни к какому конкретному разговору: «У меня хватило ума так глупо – прожить жизнь».

Актер весь в судьбе героя

Нателла Лордкипанидзе
«Советская культура» 15 марта 1983

Настоящего интервью не получилось. На некоторые вопросы Фаина Георгиевна Раневская захотела ответить письменно – и ответила; некоторые ее не заинтересовали, но главная «помеха» была в том, что она постоянно отвлекалась. Вернее, увлекалась, если разговор вдруг касался того, что было ей интересно или дорого. Была непредсказуема – как на сцене, где никогда нельзя угадать ход ее роли, настолько каждый раз он кажется новым и неожиданным. Даже в фильмах кажется, где, как известно, все закреплено на пленку раз и навсегда. И все-таки все, да не все. Недавно по ТВ в честь юбилея Эраста Гарина шла «Свадьба», и сколько же эпизодов этой старой картины вызывали радостное любопытство! Совсем новое – будто никогда раньше их не доводилось смотреть.

О «Свадьбе» речь зашла, и Раневская сказала, что «ни разу не улыбнулась, когда читала пьесу. «Свадьба» – личная трагедия Чехова: он страдал, встречая пошлость и мещанство». Тому, что Раневская не улыбнулась, можно поверить, глядя, как она играет: с какой брезгливостью, с каким остервенением. Даже улыбка ее героини – и та ядовита, и льстит она противно, а уж скандалит!.. Нет, скандалит артистически и с размахом – тут ее стихия и стихии актриса не укрощает. Не только в этой роли – вообще не укрощает и находит ее в любом человеке, прекрасном или ничтожном. Проходных, незначащих состояний души она не берет; берет пределы и свое отношение тоже выражает с предельной откровенностью. Не оттого ли все ее люди запоминаются, а роли кажутся большими даже тогда, когда занимают минимум времени?

Тут, пожалуй, одна из отгадок вопроса, который мысленно себе иногда задаешь: отчего актриса Раневская так любима? Не популярна – у популярности другая стойкость, но чтима? В кино она давно не снимается, на телеэкране показывается редко (разве что в одной-двух старых передачах), и много ли народу имеет возможность увидеть ее в театре, но поди ж ты! Пишут и пишут, и письма серьезные, откровенные, не одноразовые. На все она старается ответить, и это вызывает желание снова написать, чем-то за внимание и просто за самый факт ее существования отблагодарить.

Есть немало вещественных – неожиданных и трогательных –

доказательств этого желания. Мы имеем в виду фотографии, которые Раневской присылают и у которых один сюжет: собаки. Не знаем, каким путем стало известно, что она любит животных, но секрет перестал быть секретом, и симпатичные морды четвероногих во множестве украшают стены ее комнаты.

Вот уж поистине стены, которые не молчат! Даже если не знать, к кому попал в гости, они откроют, как тебе повезло. Увидишь фотографию Д.Д. Шостаковича и прочтешь: «Фаине Георгиевне Раневской – с глубоким восхищением»; Б.Л. Пастернак напишет: «Самому искусству – Раневской» и будут фотографии В.И. Качалова с нежными надписями, и М.И. Бабановой, и В. Анджапаридзе, и совсем молоденькой А.Г. Коонен и многих других, столь же славных. Фотографии А.А. Ахматовой датированы разными годами, но слово «друг» на всех будет неизменным.

– Как вы познакомились, Фаина Георгиевна? Когда?

– Очень давно. Я тогда еще жила в Таганроге, прочла ее стихи и поехала в Петербург – знакомиться. Долго гуляла около дома, потом долго стояла около двери, наконец, позвонила, и открыла мне сама Анна Андреевна. Помню весь ее облик: она была нездорова и вышла в длинном темном халате. Я, кажется, сказала: «Вы – мой поэт», – и извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты – и дарила меня дружбой до конца своих дней.

Портрет С. Рихтера с надписью «Великой Фаине с любовью» вызвал реплику: «Я не ждала этого подарка, но когда получила – начала в себя верить». Тема веры и неверия в свои силы возникала в наших разговорах не раз. Мне было трудно представить, что можно до такой степени быть недовольной собой, а Раневской трудно вообразить, что это вызывает чье-то недоумение. Как-то она вполне серьезно сказала: «Разве я большой талант? Среднее дарование», а потом, отвечая на вопрос о психологии актера, как бы подтвердила сказанное, сославшись при этом не на себя, а на В.И. Качалова.

– Судьба одарила меня дружбой Василия Ивановича. Он нисколько не был в себя влюблен и сердился, что я не говорила ему «ты». «Я что, такой старый?» «Не старый, а великий, великому не скажешь «ты». «Фаина, зачем ты повторяешь эту глупость?»

– Он был искренен? (Спрашиваю для проформы: по воспоминаниям многих знаю, что было так.)

– Он был чист, как младенец. И необыкновенно добр. Помогал людям и не хотел, чтобы знали, от кого пришла помощь. Однажды я была его курьером: отнесла большую сумму старому актеру, с которым Качалов начинал в Казани.

Талант – не радость; счастлива посредственность – она всегда довольна собой. Я была знакома с дочерью М.Н. Ермоловой, и она мне рассказывала, что после очередного триумфа Мария Николаевна могла не спать всю ночь, оттого что думала, что накануне плохо играла.

– Извините за фамильярность, но вы, Фаина Георгиевна, самоед. – Я видела таких прекрасных актеров. Я могу сравнивать.

На той же красноречивой стене – портрет Станиславского в роли генерала Крутицкого в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Под портретом рукой Раневской написано: «До смертного часа буду помнить и потрясаться этим его Крутицким».

– Вы ценили Станиславского-актера?

– На сцене он был бог. Ни с кем его не сравниваю, даже с Качаловым, даже с Михаилом Чеховым. И Лилина была великолепной актрисой: изящной, женственной, красивой, умной. Фотография Лилиной в доме, конечно же, есть – в роли Хромоножки из «Бесов», и в моем блокноте есть парадоксальное, но чрезвычайно «раневское» утверждение: «Только вот Станиславский ходу ей не давал». (Напомню, что Станиславский был мужем М.П. Лилиной, но был к ней строг так же, как к остальным «художественникам».)

– Можно научиться быть актером?

– Научиться нельзя. Можно развить свое дарование, научиться говорить, изъясняться, но потрясать – нет. Для этого надо родиться с природой актера, в которой главное – вера. До выхода на сцену я – Раневская, на сцене – человек, жизнью которого живу. Не понимаю и не люблю слова «играть»: актер весь в судьбе героя.

Думаю, что я застенчива; правда, в молодости была понахальнее. На сцене же стеснительность меня оставляет: она есть до и после спектакля.

– Забываетесь вы в роли?

– Сумасшедшие только забываются: забудешься – и парик с себя сорвешь. Состояние двойственное, если говорить серьезно.

Забываю себя, но и неотлучно слежу за собой, чтобы не «соскочить» с главного.

– Как же совместить импровизацию с самоконтролем?

– Я знаю, кого буду играть, а как – не знаю. Нужна основа, нужна задача – тогда можно импровизировать. Немыслимо одинаково сыграть даже десять спектаклей, не то что сто.

– Тяжелая профессия?

– Ужасная. Ни с чем не сравнимая. Вечное недовольство собой – смолоду и даже тогда, когда приходит успех. Не

оставляет мысль: а вдруг зритель хлопает из вежливости или оттого, что мало понимает?

– А если не быть актрисой – кем быть?

– Археологом. (Ответ последовал незамедлительно.) Только археологом.

– Почему?

– Очень интересно знать, что создавали люди тысячу лет назад. В этом открывается большой смысл: в памяти, которая не исчезает и которую одни сохраняют для других. Прошедшее меня волнует.

Нередко бывает так: вам что-то про себя говорят, но слова существуют отдельно, а человек – отдельно. С Раневской – наоборот: все сказанное подтверждается тут же, словно подстроено. Вот и сейчас: сидим около стола, а на столе открытый том «Переписка Пушкина» и рядом второй. Тут же Маяковский, сборник Поля Элюара на французском языке и «Легенда о докторе Фаусте». Последняя – из серии «Памятники мировой литературы». Если в этом доме что-то и есть, то книги, читанные книги. На полках они стоят не шеренгой, не чинно, на большом круглом столе сгрудились во множестве, вперемешку с альбомами по искусству, и вообще – стоит только появиться чему-то значительному из мемуаров, литературных изысканий, публикаций, как книжка эта рано или поздно очутится у Раневской.

– Фанна Георгиевна, отчего вы сами не пишете? Вы столько знаете, стольких видели… (Задаю вопрос неспроста: афоризмы Раневской в театральном и не только театральном мире более чем известны, и меткие словечки известны, и написанные ею не от своего лица шуточные письма – литература, так отчего же не писать?)

– Театральное общество просило меня об этом, я начала, но все написанное порвала. Не могу рассказывать о себе. О других – не имею права, не знаю, как бы они к этому отнеслись. Кроме того, о многих прекрасных актерах, которых я знала, написано до меня. Когда же обо мне кто-нибудь пишет, это волнует. Делается и приятно, и тревожно: как-то я прочла о себе в одном журнале, но это была я и не я.

– В актерской жизни нужно везенье?

– Необходимо. Больше, чем в любой другой. Актер зависим, выбирать роли ему не дано. Я сыграла сотую долю того, что могла бы.

– Есть роли, к которым вы относитесь по-особому?

– Я не придаю большого значения тому, что сделала в театре и кино. Люблю играть эпизод – он в состоянии выразить больше,

нежели иная многословная роль. Два моих самых любимых эпизода по характеру противоположны. Я имею в виду спекулянтку из «Шторма» и тапершу из фильма об Александре Пархоменко. «Нет маленьких ролей – есть маленькие актеры», – это сказано удивительно точно.

– Каков путь к роли? Разный в разных случаях или в подходе есть общее? И что служит «материалом» образа?

– Материалом служит и свое, и чужое. Черты роли беру от всех окружающих – знакомых, незнакомых и воображаемых. Когда играла в «Шторме», приписала к тексту свои слова. В 20-х годах жила трудно, на базаре меняла вещи на продукты и видела, и слышала там много любопытного. Это мне помогло. Если же лицо пьесы непонятно и неизвестно по жизни, работа идет труднее.

Для тех, кто «Шторм» не смотрел, необходимо коротенькое добавление. В спекулянтке разгадан и явлен тип: тип явления, а не только человека. Человек может выглядеть вполне респектабельно, вполне современно, но коль скоро он спекулянт, в душе его, как в душе героини Раневской, будет жить и алчность, и страх, и изворотливость. Под любой личиной, но они будут существовать.

– Доверяю впечатлению от первого чтения пьесы; иногда это впечатление предопределяет все дальнейшее. Иногда образ возникает от внешнего представления, но внешнее всегда служит выражением внутренней сути. Они должны совпасть.

Жест и мимика появляются с рождением человека – роли, работа же над ролью продолжается до тех пор, пока пьеса не сойдет со сцены. А работают актеры всегда и везде. Я вонзаюсь в того, кого изображаю.

– Кого бы вы назвали мастером? – Того, кто понимает, для чего и для кого он на сцене.

– «Для кого» – это для публики?

– Для народа.

– Когда возник этот взгляд на профессию?

– Сразу такое не приходит, приходит с годами. А вначале была только радость.

Новое есть талант

Нателла Лордкипанидзе
«Неделя» 22 августа 1976 г.

Листы глянцевитой плотной бумаги аккуратно разрезаны пополам и исписаны крупным изящным почерком. Свободным. Даже тогда, когда автор хочет что-либо добавить к уже сказанному, рука его не торопится, и слова ложатся поверх строк так же изящно и четко. Пишущий знает, что он хочет сказать, и потому не сбивается – иногда только уточняет мысль.

Написанное делится на короткие абзацы, и каждый абзац пронумерован. Всего их пятнадцать – по числу вопросов, которые мы задали Фаине Георгиевне Раневской.

Нам и раньше приходилось беседовать с ней на аналогичные темы, но коль скоро речь зашла о том, что сказанное может быть опубликовано, Раневская захотела точности и определенности. Мало ли как можно понять друг друга, даже при желании понять и верно передать понятое.

Что это – педантичность? Преувеличенное внимание к себе? Вопросы риторические, признаемся сразу, при том, что сразу скажем: Раневская не из тех, кто хочет и способен притворяться, будто не знает, интересуются ею или нет. Знает, что интересуются, но даже если бы она не была известна, ответы все равно продумывались бы и писались, потому что и вопросы, и ответы касаются главного в ее жизни – театра.

Понимаем, что и это утверждение может прозвучать риторически. Когда пишется что-либо в похвалу человеку, обязательно утверждается, что он предан своему делу. Утверждение это стало общим местом, хотя и верно по существу. Только вот одно: чему предан человек? Делу или тому, чем дело в состоянии его лично вознаградить? Что он ценит в первую очередь: известность, успех и вытекающие отсюда последствия, ради которых он действительно готов трудиться в поте лица, или последствия для него – всего лишь производное от чего-то неизмеримо большего, стоящего в ином ряду?

У Раневской трудный характер. Есть вещи, к которым она нетерпима, и тут уж ничего не поделаешь, как ни старайся. «Когда на репетиции в руках моего партнера я вижу смятые, слежавшиеся листки – отпечатанную на машинке роль, которую ему не захотелось переписать своей рукой, я понимаю: мы говорим с этим человеком на разных языках. Вы подумаете: пустяк, мелочь, но в пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В

крупном можно притвориться, на пустяки же, как правило, внимания не тратят».

Хотим понять, что для нее в этих слежавшихся листках? Только ли знак небрежности, лености, которые сами по себе достаточно несимпатичны, или есть тут связь с другим: с самой ролью, с тем, как она готовится, обдумывается? Короче – с процессом творчества?

ВОПРОС: Подготавливая роль, интересуетесь вы ею или всей пьесой?

ОТВЕТ: Конечно же, надо знать пьесу, продумать ее и додумать. Если пьеса современная, то, с разрешения автора, что-то и приписать к роли. Если это необходимо…

Теперь, пожалуй, ясно, чем вызвано недоверие к актеру: тем, что его работу делает другой. Тем, что это он, посторонний, еще и еще раз читает пьесу, отыскивая в ней твои реплики. Тем, что ты невольно, сам того не желая, но и не утруждая себя заботой, лишаешься возможности лишний раз остаться с текстом наедине.

Почему-то вспоминаются записи, хранящиеся в архиве музея Художественного театра. Красиво переплетенная тетрадь уже выцвела, но видно, как тщательно она сделана, как старателен труд человека, заполнившего ее листы. Человек – Леопольд Сулержицкий, личность с биографией необыкновенной, отмеченной печатью страстности, даже неистовства. А между тем тщательность тетради не удивляет – скорее наоборот. Сулержицкий занимается тем, что увлекало его в ту пору жизни больше всего, и вносит в свое увлечение – свое дело – весь жар души. А делом ею была «система Станиславского», в то время едва зарождавшаяся. Он был конфидентом Константина Сергеевича, наблюдал за его репетициями, записывал их. Выдержки из своих записей он и собрал в отдельную тетрадь и подарил эту тетрадь учителю.

При этом хочется напомнить, что были они в то время в расцвете сил, были очень известны, были, что называется, нарасхват, но один счел для себя необходимым пересмотреть и переписать заметки, которые велись на протяжении нескольких «лет, а другой – не просто принять подарок, но прокомментировать то, что было в тетради. Поверх записей Сулержицкого – карандашом пометки Станиславского.

Целое складывается из разного – из малого в том числе.

ВОПРОС: Жизненное событие или ваше собственное переживание служит вам материалом для актерской работы?

ОТВЕТ: Материалом для работы служит и свое, и чужое.

ВОПРОС: Ищете ли вы в себе или в окружающих черты роли?

ОТВЕТ: Черты роли беру ото всех – от себя самой, от

знакомых, незнакомых и воображаемых.

Время от времени чеховскую «Свадьбу» показывают по телевидению. Время от времени мы видим, как Осип Абдулов и Алексей Грибов не спеша подходят к закусочному столику, не спеша выпивают рюмку-другую и так же не спеша ведут беседу на тему о том, есть ли в Греции тигры, львы и кашалоты. «В Греции все есть» – именно здесь это меланхолически произносится, и здесь же вы слышите: «Что ж зря-то пить и закусывать?»

Вы знаете, что слова эти произносит Фаина Раневская, вы ждали ее появления так же, как диалога первых двух, но все-таки и то и другое для вас не только внове, но каждый раз желанно и интересно. Отчего?

Проще да, пожалуй, вернее всего сказать: оттого, что лица эти – живые. Достоверность их для нас безусловна, и безусловна во всем – от взгляда до построения фразы. Персонажи реальны, и реальны настолько, что в реальности этой видится нечто гораздо более значительное, нежели просто жизненное сходство.

Белинский писал о «Ревизоре», что сочинение это больше похоже на действительность, нежели действительность похожа на самое себя, потому что пьеса замкнула в себе все черты подобной действительности. Речь, следовательно, о типизации, об обобщении, что для художника – высшая ступень, а для тех, кто с подобного рода искусством встречается, – высшее наслаждение. Не только герой нам открывается – каков он есть и что за такими, как он, встает, но человек, который этого героя сумел в жизни разглядеть и нам представить.

За персонажами Раневской угадывается она сама, и потому, какие бы роли ей ни приходилось играть, даже самые маленькие, следить за ней все равно интересно. Не за ролью – за актрисой.

Тут, следуя правилам, надо бы сказать, что у Раневской есть своя тема и что тема эта в том или ином обличье, но угадывается во всех ее работах. Тема действительно угадывается, но она не доминирует, а лишь освещает творчество актрисы дополнительным – скрытым – светом. Главенствует же другое, и это другое есть удивительная способность художника видеть и угадывать в жизни многое и разное. Не бояться этого разного, не подгонять его «под ранжир», но дать таким, какое оно есть, постигая закономерность образа и события в ходе отображения, воплощения.

Не потому ли в списке ролей, сыгранных Раневской, так естественно соседство мадам Скороход из роммовской «Мечты» и странной миссис Сэвидж, Бэрди из «Лисичек» и Люси Купер из «Дальше – тишина» се спекулянткой из «Шторма» Билль-Белоцерковского, свахи из «Последней жертвы» и Бабушки из

«Деревья умирают стоя»?

ВОПРОС: При подготовке роли вы идете от внешнего к внутреннему или наоборот?

ОТВЕТ: Это зависит от роли. Иногда образ возникает мгновенно, в воображении, я сразу начинаю его видеть, понимать, иногда рождается от внешнего. Но ведь внешнее – выражение внутреннего. Стиль – это человек. Хочется работать, как работала Голубкина, конечно же, не надеясь, что можно ее повторить смертному!

На одной из книжных полок, как раз в той комнате, где мы находимся, – репродукция со скульптурного портрета Лермонтова работы Голубкиной. Сила и жизненность его лица удивительны. «У меня была книжка о Тарханах. Там есть фраза Льва Толстого, смысл которой в том, что, если бы Лермонтов был жив, ни он, Толстой, ни Достоевский не были бы нужны».

Как-то неловко упоминать, настолько это само собой подразумевается, что Раневская превосходно образованна. Что в ее доме если что-то и есть, то книги, и они не стоят в чинном порядке, но то и дело перемещаются. Либо на столик у изголовья кровати – столик одновременно и изножие зеркала, либо в гостиную – она же кабинет и комната «за все». Книги здесь не только на русском языке и далеко не всякие, но те, без которых разговор об интеллигентности просто-напросто невозможен.

И хорошую живопись – не купленную, дареную – вы в этом доме увидите, и фотографии тех людей, которые, возможно, занимали ваше воображение. Ахматова, Анджапаридзе, Уланова, Качалов, Пастернак, Шостакович, Акимов – дружественные слова, посвященные хозяйке, не натянуты, но проникнуты уважением к нежным чувствам.

К чему весь этот рассказ? К тому, наверное, что настоящее дается не просто так. Что-то, конечно, дается, приходит само собой, как «дар небес», но почему-то, коль скоро встречаешься с дарованием подлинным, обязательно выясняется, что и этим он интересуется, и тем, и это знает, и то, и работает, как проклятый, и на все у него хватает времени, кроме суеты.

В один из дней в «Иллюзионе» показывали фильм с участием знаменитой американской актрисы Бэт Девис. «Вы не видели, как она играет Елизавету? (Фильм был о королеве Елизавете Английской. – *Н. Л.*) Обязательно посмотрим. Если билетов не будет, стулья нам поставят, не беспокойтесь. Я часто там бываю, меня уже знают».

Пошли. Стулья в конец зала нам действительно поставили, и Бэт Девис играла превосходно. Позже выяснилось, что Раневская просмотрела весь цикл ее картин, который шел в то время в

«Иллюзионе». Восхищалась? Училась?

Спрашиваем и, что греха таить, думаем, что предугадываем ответ, который оказывается не только иным, но заключает в себе нечто чрезвычайно поучительное.

ВОПРОС: Забываетесь ли вы целиком в роли?

ОТВЕТ: Я не понимаю, как можно целиком забываться. Сумасшедшие только забываются – так и парик недолго с себя сорвать. Живу жизнью того, кого изображаю, не забываясь.

В день спектакля звонить Раневской не рекомендуется и за день до спектакля тоже – в том случае, разумеется, если вы собираетесь беседовать с ней долго и на посторонние темы. Во-первых, говорить с вами она не станет, а во-вторых, если даже и пересилит себя, нельзя будет не почувствовать ее безумного волнения. Парадокс – если знать, что так было всегда: и когда она только начинала, и теперь, когда мастерству ее все подвластно.

ВОПРОС: Преображаетесь ли вы с утра в то лицо, которое играете вечером?

ОТВЕТ: Сосредоточена с утра, беспокойна с утра до спектакля и накануне – с вечера.

ВОПРОС: Как вы воспринимаете партнера – как лицо пьесы или как актера?

ОТВЕТ: Партнер для меня все. С талантливым становлюсь талантливой, с бездарным – бездарной. Никогда не понимала и не пойму, каким образом великие актеры играли с неталантливыми людьми. Кто и что их вдохновляло, когда рядом стоял некто с пустыми глазами? (Не кажется ли вам, что этот ответ – в ряду тех, что затрагивают природу творчества? Суметь отрешиться от реального представления о человеке и видеть в нем – реально – лицо воображаемое, вымышленное?)

– Я перестала играть любимую роль – миссис Сэвидж, когда не стало Вадима Бероева. Играя музыканта, он специально выучил трудные пьесы, которые должны были звучать в спектакле. Он был правдив, и его личные качества – добрая душа – сказывались в том, что он делал на сцене.

Моя учительница, прекрасная русская актриса Павла Леонтьевна Вульф, говорила: «Будь благородна в жизни, тогда тебе поверят, если ты будешь играть благородного человека на сцене».

Что подвластно Раневской? Все. Она может заставить вас смеяться и может заставить плакать. Но когда вы будете плакать, слезы появятся у вас на глазах не оттого только, что вы будете мимолетно растроганы, но оттого, что долго будет звучать у вас в душе отзвук чужого горя, тревожа и вопрошая совесть. А когда вы

будете смеяться, в вас будет удивление и удовольствие от той проницательности и мощи, с которыми актриса обнаружит то, что достойно стыда. И вам никогда не будет скучно на спектаклях Раневской, сколько бы вы их ни смотрели, – они будут согреты жаром ее души, ее волнением, ее артистизмом. И даже в кино, где все зафиксировано раз и навсегда, вам все равно будет казаться, что вы видите что-то новое. Это новое есть талант.

О Фаине Раневской

Сергей Юрский

Раневская приезжает на спектакль рано. И сразу начинает раздражаться. Громогласно и безадресно. Ей отвечают – тихо и робко – дежурные, уборщицы, актеры, застрявшие после дневной репетиции, – они не могут поверить, что великолепное звучное «Здравствуйте!!!» относится к ним. Раневской кажется, что ей не ответили на приветствие. И лампочка горит тускло. А на скрещении коридоров – другая – излишне ярко. Ненужная ступенька, да еще, как нарочно, полуспрятанная ковровой дорожкой. Раневская раздражается. Придирается. Гримеры и костюмеры трепещут. Нередки слезы. «Пусть эта девочка больше не приходит ко мне, она ничего не умеет!» – гремит голос Раневской. Я сижу в соседней гримерной и через стенку слышу все. Надо зайти. Как режиссер, я обязан уладить конфликт – успокоить Фаину Георгиевну и спасти от ее гнева, порой несправедливого, несчастную жертву. Но я медлю. Не встаю с места, гримируюсь, мне самому страшно. Наконец, натянув на лицо беззаботную улыбку, я вхожу к ней.

– Я должна сообщить вам, что играть сегодня не смогу. Я измучена. Вы напрасно меня втянули в ваш спектакль. Ищите другую актрису.

Я целую ей руки, отвешиваю поклоны, говорю комплименты, шучу сколько могу. Но сегодня Раневская непреклонна в своем раздражении.

– Зачем вы поцеловали мне руку? Она грязная. Почему в вашем спектакле поют? У Островского этого нет.

– Но ведь вы тоже поете… и лучше всех нас.

– Вы еще мальчик, вы не слышали, как поют по-настоящему. Меня учила петь одна цыганка. А вы знаете, кто научил меня петь «Корсетку»?

– Давыдов.

– Откуда вы знаете?

– Вы рассказывали.

– (Грозно.) Кто?

– Вы.

– Очень мило с вашей стороны, что вы помните рассказы никому не нужной старой актрисы. (Пауза. Смотрит на себя в зеркало.) Как у меня болит нос от этой подклейки.

– Да забудьте вы об этой подклейке! Зачем вы себя мучаете?

– Я всегда подтягиваю нос… У меня ужасный нос… (Пауза.

Смотрит в зеркало.) Не лицо, а ж… Ищите другую актрису. Я не могу играть без суфлера. Что это за театр, где нет суфлера?! Я не буду играть без суфлера.

– Фаина Георгиевна, и я, и Галя, мы оба будем следить по тексту.

– Вы – мой партнер, а Галя – помреж. Суфлер – это профессия!.. Не спорьте со мной!!! И мне подали не тот платок, эта девочка очень невнимательна.

– Это ваш платок, Фаина Георгиевна.

– Нет, не мой! Я ненавижу такой цвет. Как называется такой цвет? Я совершенно не различаю цвета. Что это за театр, где директор никогда не зайдет, чтобы узнать, как состояние артистов! Им это, наверное, неинтересно. А что им интересно?

В дверях появляется внушительная фигура директора театра.

– Здравствуйте, Фаина Георгиевна!

Раневская подскакивает на стуле от неожиданности.

– Кто здесь? Кто это?

– Это я, Фаина Георгиевна, Лев Федорович Лосев. Как вы себя чувствуете?

– Благодарю вас, отвратительно. Вы знаете, что в нашем спектакле режиссер уничтожил суфлерскую будку? И я вынуждена играть без суфлера.

– Фаина Георгиевна, у нас в театре вообще нет суфлерской будки.

– А где же сидит суфлер?

– У нас нет суфлера. Но Сергей Юрьевич мне говорил, что Галя…

– Сергей Юрьевич – мой партнер, а Галя – помреж… Суфлер – это профессия (и т. д.). Но я благодарю вас за то, что вы зашли. Теперь это редкость… Вот он, мой платок. (Она начинает надевать тот самый платок, что подали вначале.) Странное время. Суфлерской будки нет, пьес нет, времени ни у кого нет, а зрительный зал полон каждый вечер.

За десять минут до начала Раневская выходит из гримерной. Заглядывает ко мне.

– Почему горит свет, а никого нету?! Какая небрежность!

– Я здесь, Фаина Георгиевна. Я гримируюсь.

– Извините, я вас не увидела. Ой, тысячу раз извините, я помешала творческому процессу.

На сцену ее сопровождает специально прикрепленный к ней помреж – опытнейшая Мария Дмитриевна. Она действует успокаивающе. Раневская сидит за кулисами на выходе и читает свою роль. Мария Дмитриевна машет веером. Я хожу по сцене, проверяю, все ли на месте. Шумит зал за занавесом.

– Дайте руку. Видите, какая у меня холодная рука. А у вас теплая. Я вам завидую. Вы совсем не волнуетесь перед выходом? Я всегда волнуюсь, как дура. А знаете отчего это? Оттого, что я скромная. Я не верю в себя. Я себе не нравлюсь.

– Зато другим нравитесь.

– Кому?

– Вы всем нравитесь.

– Это неправда… Я плохо играю эту роль.

– Вот это – неправда. Вы замечательно играете.

– Может быть, я просто нравлюсь вам как женщина?

– Это само собой.

– Очень галантно… Ммм!

Мы с Марией Дмитриевной помогаем Раневской встать со стула. Слышны команды к началу. Подошла и робко встала рядом Г. Костырева – партнерша Фаины Георгиевны по первому диалогу. Зал за занавесом стихает. Раневская проборматывает начальные слова роли. Пробует жест.

«Яблоки, яблоки, яблоки! – кричат торговки. – Моченые яблоки! Яблоки хорошие! Хорошие яблоки!» Колокольный звон. Сцена заливается светом.

Смотрю на Раневскую, и страшно за нее. Кажется, она упадет при первом самостоятельном шаге. Ее надо вести под руки, как вели мы ее только что. Но она уже не народная артистка, а нянька Филицата. И некому помочь ей. Она сама всем вечная помощница и защитница. Колокольный звон усиливается, растет. Черная щель разрезала занавес. Щель увеличивается, открывается громадное пространство зрительного зала. И… вместо черноты – ослепительный свет прожекторов. Костырева пошла по диагонали к авансцене: «Что ты мне сказала? Что ты мне сказала?» Раневская (уже не Раневская, а кто-то другой, с другим лицом, с утиной походочкой враскачку, с глазами, уставленными в пол, с указующим перстом вытянутой руки) тронулась вслед – на сцену. И – сразу – овация!

– Зачем? Зачем они хлопают? Они любят меня? За что? Сколько лет мне кричали на улице мальчишки: «Муля, не нервируй меня!» Хорошо одетые надушенные дамы протягивали ручку лодочкой и аккуратно сложенными губками вместо того, чтобы представиться, шептали: «Муля, не нервируй меня!» Государственные деятели шли навстречу и, проявляя любовь и уважение к искусству, говорили доброжелательно: «Муля, не нервируй меня!» Я не Муля. Я старая актриса и никого не хочу нервировать. Мне трудно видеть людей. Потому что все, кого я любила, кого боготворила, умерли. Столько людей аплодируют мне, а мне так одиноко. И еще… я боюсь забыть текст. Пока

длится овация, я повторяю без конца вслух первую фразу: «И всегда так бывает, когда девушек запирают», – на разные лады. Боже, как долго они аплодируют. Спасибо вам, дорогие мои. Но у меня уже кончаются силы, а роль все еще не началась… «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Нет, не так. Я не умею говорить одинаково. Я помню, как выходили под овацию великие актеры. Одни раскланивались, а потом начинали роль. Это было величественно. Но я не любила таких актеров. А когда овацию на выход устроили Станиславскому, он стоял растерянный и все пытался начать сквозь аплодисменты. Ему мешал успех. Я готова была молиться на него. «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Нянька добрая… Она любит свою воспитанницу, свою девочку. А на бабушку нянька злится – зачем запирает внучку… Поликсену… дорогую мою… «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Нянька раздражена. Или это я раздражена? «Муля, не нервируй меня!» Я сама выдумала эту фразу. Я выдумала большинство фраз, которые потом повторяли, которыми дразнили меня. В сущности, я сыграла очень мало настоящих ролей. Какие-то кусочки, которые потом сама досочиняла. В Островском нельзя менять ни одного слова, ни одного! Я потому и забываю текст, что стараюсь сказать абсолютно точно, до запятой. А суфлера нет. А все кругом говорят бойко, но приблизительно. Не ценят слова. Не ценят слово. Не ценят Островского. И всегда так бывает, когда меня нервируют… Муля! Не запирай меня! Всегда так бывает.

А если бы Раневская вышла на сцену, как все обычные актеры, в нормальной заинтересованной тишине? Что было бы? Наверное, не было бы спектакля. Это могло значить только, что зал пуст, никого нет в зале. Последние двадцать лет, если не больше, она начинала свою роль (любую!) только после овации. Дружные аплодисменты благодарности. Просто за то, что видим ее! За все, что уже видели. И вот она с нами. И ничего больше не надо! – «Как не надо? А играть? А спектакль? А моя роль?» – Не надо, не важно, браво, браво! Почти абсурдная двойственность! Как будто перед началом романа стоит жирная точка и слово «конец». И все-таки… все-таки, когда так встречают актрису, когда такой единый порыв, – это праздник. Почти забытый, будоражащий праздник театра.

Первая сцена очень трудная. Как ни разрабатывай действенную структуру, а Островский писал чистую экспозицию, давал «вводные данные». Современные актеры разучились играть спокойно-разъяснительные прологи, а современные зрители разучились их смотреть. Раневская всегда мучилась с этой сценой. Кроме всего, после такого приема ей сразу хотелось

ответить чем-то необыкновенным. А ничего необыкновенного в сцене нет. Она дробила сцену на маленькие кусочки и играла, пробуя разные контрастные краски – и голосовые и мимические. Кусочки бывали изумительные. Зыбкина рассказывает о своих бесконечных несчастьях и потом про сына – вот от всего этого и вышел он «с повреждением в уме». Необыкновенно заинтересованно и как-то величаво замерев, Раневская спрашивала, говоря врастяжку: «Какого же роду повреждение у него?» – «Всем правду в глаза говорит».

И, понимая серьезность такого «вывиха сознания», Филицата, мудро покачивая головой, произносила как диагноз, печально утверждая: «В совершенный-то смысл не входит».

В финале десятиминутной сцены Раневская, устав и предвидя близкий отдых за кулисами, играла легко, лукаво, без напряжения, скинув наконец-то груз ответственности. На уход она пела: «Корсетка моя…» Я был против этого пения – чисто гастролерская добавка. К тому же мне казалось, что «Корсетка», спетая единственный раз в конце спектакля, должна потрясать неожиданностью. Убедить в этом Раневскую я не смог. Почти всегда на уход Раневская пела. Пение заглушали аплодисменты. Почти всегда. Когда их не было (один-два раза за два года), Раневская впадала в молчаливое отчаяние. Это жуткий контраст – овация на выход и уход в тишине, «под стук собственных шагов», как говорят в театре.

К себе в гримерную Фаина Георгиевна не поднимается. Весь спектакль сидит на сцене в кулисах. Учит роль по тетрадке. Изливает на Марию Дмитриевну свои обиды. Все вслух. Кашляет, жалуется на сквозняк, на духоту. Бывает, голос ее слышен на сцене. Когда он звучит совсем уж громко, я бегу к ней, умоляюще складываю руки на груди, а потом показываю на уши – слышно, слышно вас! Она сперва не понимает, потом пугается, закрывает рот руками. Через несколько минут ее снова слышно.

Раневская не могла выйти на сцену сама. Ее нужно было «выпускать». Суфлера она уступила, но эту традицию старинного русского театра сохранила. Помреж должен тронуть за плечо и сказать: «Ваш выход» или просто и грубо: «Пошла». И тогда… пошла. И так на каждый выход. А их в «Правде…» у Филицаты десять. Мария Дмитриевна блестяще исполняла роль помрежа XIX века. Вот она растирает мерзнущие руки актрисы, вот машет на нее веером. Утешает, шепотом ободряет. Потом властно говорит: «Приготовились!» Помогает встать со стула. И на равных, по-деловому, приказательно – «Пошла!»

Бежит! Бежит через всю сцену Раневская.

«Ай, что он тут наделал-то! Что натворил! На-ка, хозяевам в

глаза так прямо… Что ты, что ты? Опомнись! Тебя хотят за енарала отдавать…». (О, как она произносит этого «енарала» – это куда больше и невероятнее, чем «генерал»!)

«На что он тебе? Он тебе совсем не под кадрель». Мощно звучит у Фаины Георгиевны каждое необычное словечко Островского. Поликсена сует няньке в руки деньги: «Поди, купи мне мышьяку!» Отшатнулась нянька, вздрогнула всем телом… раз, другой. Застонала. Как-то странно взревела басом. Повернулась к зрителям. Она одна на сцене. И в ней все. Не забыть. Этот полуоткрытый рот. Беспомощная рука, и в ней страшный рубль, данный для покупки отравы. И не идут, долго не идут слова. Только звуки. И, наконец: «Ай, погибаю, погибаю». Лучшее, великолепнейшее, что было в этой комической роли, – трагические всплески. И для трагедии была создана Раневская, и для трагедии тоже. Думаю, что это ее жанр, но она почти никогда не играла его в чистом виде. Только отдельные мгновения. Так и здесь. Одно мгновение. Какой-то стон и два слова. И потом фраза: «Вот когда моей головушке мат пришел». Это уже снова забавно, жанрово, комично. Занавес, конец акта.

Всегда ли так? Всегда не так! Иногда – нарочито скрипучим голосом: «Погиба-а-ю!», давая понять, что такое страшное слово на пустом месте – не от чего тут погибать, то есть – как положено в комедии. Иногда по-другому. Иногда еще как-нибудь. Но однажды (или все-таки много раз?) – это трагическое полнозвучие. Его-то и не забыть. В нем-то и суть.

– Я не могу без партнера. Партнер для меня – это все. Я не могу без общения. Я должна видеть глаза. Но случается, что в этих глазах я вижу вульгарность или даже хамство. Я теряюсь, не могу играть. Я завишу, целиком завишу от партнера. Дорогая моя, куда вы смотрите? Смотрите на меня. Товарищ режиссер, можно, я буду держать ее за руку и притягивать к себе? Я плохо вижу… Еще ближе…

– Фаина Георгиевна, но ведь и зрители хотят вас видеть. Сейчас видим просто два чепчика, два затылка. Откройтесь, пожалуйста. Как хорошо, когда вы смотрите на нас.

– Я не умею играть на публику. Я должна говорить в глаза партнеру.

– «На публику» – не надо, но все-таки для публики.

– Я потому перестала сниматься в кино, что там тебе вместо партнера подсовывают киноаппарат. И начинается – взгляд выше, взгляд ниже, левее, подворуйте. Особенно мне нравится «подворуйте». Сперва я просто ушам не поверила, когда услышала. Потом мне объяснили – значит, делай вид, что смотришь на партнера, а на самом деле смотри в другое место.

Изумительно! Представляю себе, если бы Станиславскому сказали: «Подворуйте, Константин Сергеевич!» Или Качалову… Хотя нет… Качалов был прост и послушен. Он был чудо. Я обожала его. Он, наверное, сделал бы, как его попросили… Но я не могу «подворовывать». Даже в голод я не могла ничего украсть: не у другого – помилуй бог! – а просто оставленного, брошенного – не могла взять чужого. Ни книги, ни хлеба… и взгляд тоже не могу украсть… мне нянька в детстве говорила: чужое брать нельзя, ручки отсохнут. Я всегда боялась, что у меня отсохнут ручки. Я не буду «подворовывать»…

– И не надо. Не об этом речь. Но ведь и в жизни мы довольно редко говорим, уставясь в глаза друг другу. Это исключение. Обычно наш взгляд перемещается. Мы оглядываем пейзаж, интерьер, или, как говорится, «блуждаем взглядом», или смотрим в одну точку, или заглядываем внутрь себя.

– Это понимаю… говорит сама с собой… Рядом сидит другой человек, а она говорит сама с собой. Это возможно… Сумасшедшая старуха сидит в беседке и говорит сама с собой… это нормально.

Раневская проигрывает кусок сцены, показывая раздвоение личности. Очень смешно. Потом играет (именно играет, а не рассказывает) случаи, старые анекдоты на тему «склероз» и «маразм». Это так точно, так обаятельно при всей гиперболичности, что ничего не хочется делать – только сидеть и смотреть, смотреть на это без конца.

– Давайте попробуем еще раз, – говорю я. – Как хорошо видеть ваше лицо – прямо на нас, в фас. Тогда все доходит – и глаза, и мимика, и вся игра…

– Я не играю, я живу на сцене! – грозно кричит Раневская.

– Пожалуйста, с самого начала!

Она хватает партнершу за руку, близко притягивает ее к себе. Говорит почти вплотную. Лицом к лицу. И лица не увидеть.

Фаина Георгиевна никогда не концертировала соло. Никогда не выходила на сцену одна, хотя массу всего знала наизусть и дома читала великолепно. У нее действительно была какая-то абсолютная необходимость в партнере. Все, что в фас, все, что прямо в зал, ей казалось нескромным, недопустимым. Все, что в профиль, освобождало от груза ответственности и давало импульс к игре. Но Раневская остро и очень профессионально чувствовала реакцию зала, великолепно ощущала приливы и отливы внимания. Зал нужно «взять – значит «отпустить» партнера и направить энергию прямо на зрителей. Зал взят. Но это «нескромно» и не по системе – смотреть в зал. И снова Раневская вертит партнером, будто ищет точку, где сольются

наконец две противоположности, и партнер станет залом – близким, послушным, а зал станет партнером – понимающим, реагирующим. Как живописец преодолевает плоскость полотна и создает перспективу картины, так Раневская зримо преодолевала условность театра в поиске секунды подлинного или, вернее, сверхподлинного момента жизни.

У Грознова с Филицатой две небольшие сценки – во втором и в четвертом актах. Они старинные приятели, эти старые люди. Они заодно. Только Грознов «игрун» – может что-нибудь учудить и испортить все дело. С другой стороны, именно потому что «игрун» – на него вся надежда. Ведь только чем-нибудь невероятным можно прошибить хозяйку. Ее ни логика, ни мольба не убедят. Ее и «пушкой не прошибешь»… Сценки проходные, не нагружены острым конфликтом, поворотом сюжета. Это прелюдии к будущим событиям. Мы сидим с Раневской, разделенные столом. В комнате еще Зыбкина – владелица квартиры. Грознов чудит, интригует. То смирненьким старичком маразматиком себя явит, то вдруг ляпнет такое, что Зыбкина вздрогнет и напряжется. У Филицаты одна задача – не дать ему «разойтись», не дать до времени никому обнаружить, кто он таков на самом деле. Филицата смягчает его «ляпы», советует, как дальше действовать, деликатно внушает, наставляет, даже деньгами снабжает старика. Значит, действие – утихомиривать «взбрыки» Грознова и давать Зыбкиной приемлемое их объяснение – дескать, много пережил человек, многое совершил, чуть со странностями, конечно, но… бывает! Состояние Филицаты – тревога: как бы не лопнула вся затея.

Это все Раневская играла. Это – «по задаче». А вот было еще нечто, идущее лично от нее. Тут-то и «изюминка». Она сама веселилась душой от этих «взбрыков». Ей самой очень хотелось что-нибудь учудить. Эх, текста для этого нет. Замечательную роль написал А. Н. Островский. Но не для Раневской. Ей бы Грознова играть! Вот тут бы она выдала, да жаль – роль мужская. Ну ладно, текста нет, но есть же интонация! Есть жест, есть глаза! Чудить – не чудила, а желание в них светилось. И так объемно все звучало, и с хитрецой, и с подколом, и по-доброму: «…вы, отдохнувши, сегодня же понаведайтесь к воротам. У нас завсегда либо дворник, либо кучер, либо садовник у ворот сидят; поговорите с ними, позовите их в трактир, попотчуйте хорошенько! Своих-то денег вам тратить не к чему, да вы и не любите, я знаю; так вот вам на угощение!» И рублик шмяк на стол. Тот самый, что на мышьяк был дан. Вот он куда пойдет.

«Расскажите, в каких вы стражениях стражались…». А Грознов глухим прикинулся, руку трубочкой к уху тянет (кстати, это мне

Раневская предложила). Она наклонилась и уже с открытым смехом гаркнула: «В каких стражениях стражались!!!» – что ж ты, дескать, старый черт, совсем уж собственное геройство позабыл?

В четвертом акте при открытии занавеса сцена пуста – никакой мебели. И стоят двое на пустой сцене – Грознов, в полной военной форме, при орденах, и Филицата. Стоят и смотрят друг на друга. И тут случались аплодисменты. Но другого рода, нежели первая овация. Здесь реакция «ни на что» бывала лишь в том случае, когда накат спектакля вел к этому, когда к четвертому акту зрители оказывались по-настоящему втянутыми и в события, и в игру… Зал радовался – опять эта парочка, чего-нибудь да устроят! Вот это ощущение «парочки» – самое радостное из подаренных мне Раневской как партнеру. Мы прогуливались, взявшись за руки. Она толковала – где и что в доме расположено. Где что спрятано. И опять в маленькой сценке, в десятке небольших реплик, эта дивная смесь – и гордость за богатство, и презрение к богатству. И обстоятельность и озорство. И какое-то неизвестно по каким причинам возникшее… кокетство, что ли?

«Вот. Сила Ерофеич, я вам все наши покои показала; а теперь подождите в моей каморке!.. Когда нужно будет, я вас кликну». И подмигнула, и плечиком сделала… и ручкой!

Руки Раневской. Морщинистые, сильные, мягкие, но не пухлые, обтянутые тонкой, как бы стеклянной пленкой кожи. Часто мерзнут эти руки. Даже когда жарко.

Сидим в проходной комнате возле сцены. Идет спектакль.

– Я простужена. Всем мешаю своим кашлем. Я кашляла на сцене. Зрители это слышали. Это ужасно. Я плохо играла.

– Вы замечательно играли.

Я знаю, что никогда нельзя соглашаться с самокритикой Раневской, даже если она настаивает. Этого она не прощает.

– Плохо, плохо. Найдите другую актрису. Вы знаете, мне тяжело. Такая долгая зима. Я не выношу холода. Я ведь южанка. У нас в Таганроге зима была короткая. А здесь север. Я не могу привыкнуть за пятьдесят лет. И на сцене дует.

Входит наш актер В. И. Демент, участник спектакля, цыган, замечательный гитарист. Он присаживается рядом и перебирает струны. Это случается частенько во время спектакля. Раневская любит гитару и цыганское пение. Демент тихо напевает. Раневская слушает. Молчит, печально глядя в пространство.

– Спасибо, дорогой, спасибо! (Демент уходит на сцену.) Возьмите меня за руки. Чувствуете, какие холодные?.. Если бы вы знали, как мне страшно умереть. (Смотрит прямо в глаза. У меня захолонуло сердце.)

Дверь открылась:

– Приготовились, Фаина Георгиевна!

Идет третий акт. Сумерки в доме. Близится тайное свидание молодых, устроенное Филицатой. И она тихонько топочет по комнатам – где хозяйка, где сынок, что делают? Не накрыли бы! Вошла… и замерла в полутьме. В другом углу почти невидимая хозяйка… к графинчику прикладывается. Хотела Филицата проскользнуть незаметно, но та окликнула. Я очень любил эту сцену Сошальской и Раневской. Барабошева выспрашивает слухи. И слухов много, и слухи все неприятные. Нянька выбалтывает помаленьку: сын пьет, деньги утекают…И присела нянька. Чего не присесть – сорок лет она в доме живет, когда-то с хозяйкой почти подругами были. Присела… Хозяйка заметила и так посмотрела, что поднялась старая нянька. И вдруг обидно ей стало. И, тогда… мощно, грозно… пошла прямо на хозяйку. Та снова: «Еще чего не знаешь ли? Так уж говори кстати, благо начали!» Филицата молча идет, идет. И потом сильно, откровенно, уже ничего не боясь, не рассчитывая: «Платона даром обидели – вот что! Он хозяйскую пользу соблюдал и такие книги писал, что в них все одно что в зеркале, сейчас видно, кто и как сплутовал. За то и возненавидели».

А тема-то запретная – и Платон, и книги расчетные. И отрезала хозяйка. Рявкнула! Ушла. Филицата одна. Переминается с ноги на ногу. Дышит шумно. И вдруг… скроила гримасу – передразнила хозяйку – «у-те-те-те»… И плюнула! Плевок на сцене – трюк опасный. И грубо и избито. Но ведь вся штука – как сделать! Раневской можно.

В сцене ночного свидания Раневская тоже пользовала трюки яркие, почти клоунские: вздроги, испуги, хватание за сердце, передразнивания. Я всегда наслаждался, глядя на стиль ее исполнения. Сами трюки виданы сотни раз – в цирке, в оперетте, в театре – хорошем и плохом. А Раневская все это видела (и делала, наверное!) тысячи раз в разных ролях. Прелесть заключалась в том, что она и не скрывала цитатности. Это были веселые воспоминания о том, как следует играть такой жанр. И в лучших спектаклях – совсем легко. Проходно, не задерживаясь, двигаясь к главному. А главное – нежная сцена с Поликсеной, последние наставления молодым. Тут любимая фраза Раневской, «зерно роли», по ее мнению: «Я рада для тебя в ни-и-иточку вытянуться».

А потом пошло, покатилось. Молодых влюбленных накрыли. Шумно и страшно стало в саду и на всей барабошевской территории. Большим избиением, а то и убийством попахивает дело. Кинулась Поликсена на защиту любимого. Рискуя, сильно

рискуя – ведь и ее не пощадят.

У Филицаты в этой длинной сцене реплик нет. Думали – пусть отдыхает. Фаина Георгиевна за кулисами. Не надо ей участвовать в этой сцене.

– Это невозможно! Ее девочку дорогую так обижают, а она в это время за кулисами? Я буду на сцене. Она ж ее защитить хочет от этих зверей. Да нет – зверь так не поступит. Вы знаете, я люблю зверей больше, чем людей. Они несчастны и беззащитны. У них нет хитрости. Я не сплю уже много ночей и думаю о птицах. Как же им холодно и голодно. Соседи злятся на меня за то, что я приманиваю птиц. А они гадят. Птицы, конечно, а не соседи. Ну, конечно, гадят! А как же им быть? Я высыпаю по килограмму зерна в день на подоконник. И они едят без конца. А потом гадят. Но их невыносимо жалко. У них такие тонкие ноги. Ночью я не сплю и все время думаю, как холодно этим тонким ногам. Нет-нет! Нянька, конечно, прибежит за своей девочкой. Я буду участвовать в этой сцене.

И выходила. И молча охала, и глаза наливались слезами – в толпе, на неосвещенном краю сада. Нет, это вовсе не буквоедство – мол, у Островского написано, значит, я обязана. Это и не дисциплина – дескать, покажу пример. Это исполнение морального долга. Она выходила в этой сцене и, почти невидимая, играла, переживала, тратила свои силы не для зрителей, не для примера коллегам, а для реальной Поликсены, как реальная любящая старуха Филицата.

Сложен человек. Всякий сложен. Много намешано в человеке. Потому и интересен. Сплетаются биографические нити с генетическими. Сплетаются дурные и добрые побуждения. Спутываются ясные намерения ума с простыми требованиями жизни. Сердечный импульс дает толчок в одну сторону, а физиологический императив – в другую. Нити общественного долга и личного интереса стремятся к слиянию в красивый узор, а он порой оборачивается уродливым узлом. Но если внутри у большинства из нас замысловатый клубок нитей, то Раневская была соткана из морских канатов. Великолепна и красива ее сложность. И от крупности все противоречия ее личности воспринимались как гармоническая цельность. Редки такие люди.

Так случилось, что многие годы она провела почти безвыходно в четырех стенах. Но сохранила острое любопытство к жизни во всех проявлениях: к политике, к психологии современного человека, к смешному, к людским слабостям, к новым книгам, к новым талантам. Едкая насмешливость при постоянно возвышенном складе ума и сердца. Не терпела «тонности в общении, но при этом органически неприемлела

малейшую фамильярность. Тяга к общению и потребность одиночества. Взрывы гнева и сентиментальность. Самоутверждение, обидчивость, подозрительность, и при этом – широта души, искренняя беспощадная самокритика, непостижимое умаление, даже уничижение своих достоинств, талантов (например, писательского дара). Безмерная печаль и могучий нутряной оптимизм. Жалостливая любовь ко всем людям и громогласный искренний патриотизм, безоговорочное предпочтение своих (во всем наше лучше!): русский язык, русский образ мыслей, русский стиль жизни, русские традиции. И еще: непреходящая гордость оттого, что она советская гражданка и советская актриса – по собственному выбору! Поступок совсем ранней юности. Вся семья эмигрировала после революции. Она – единственная из семьи осталась. С народом, со страной, с революцией, с русским театром. Так говорила Раневская – не с трибуны, не в интервью, а в своей комнате один на один среди разных других разговоров. Канаты, канаты сплелись в ней! Огромный масштаб. Карта в размер самой местности. Глубина памяти в размер века.

– Я помню этот ужасный день. Мама вскрикнула в соседней комнате. Я вбежала. Мама, страшно бледная, лежала без сознания. На полу валялась газета, а в траурной рамке дорогое, любимое лицо. Лицо Чехова. В тот день я стала читать его «Скучную историю». Мне было восемь лет.

Боже ты мой! – что тут еще скажешь? В жаркий июльский день 1984 года мы сидим в кухне у Раневской, завтракаем, говорим о нынешних делах театра, и вдруг она вспоминает впечатление от смерти Чехова – 1904 год! Боже ты мой!

– У вас сегодня концерт? Бедный… Что же вы будете читать?

– Сегодня поэзию.

– П-о-эзию. Пожалуйста, не меняйте звук «о», не говорите его между «о» и а». В этом слове «о» должно звучать совершенно определенно – пОэзия. Какую пОэзию?

– Есенин, Мандельштам, Пастернак, переводы Цветаевой – в общем, классика XX века…

– Ося… Боря… Марина…

Всех знала. И они знали ее. Сколько было пережито вместе. И врозь. И беда друга больше, чем своя беда. А какие праздники были! Какие встречи после долгой разлуки! И размолвки были. И смешное было. Много смешного. В рассказах Раневской даже самые горькие, трагические эпизоды не только окрашены, но пронизаны юмором. Все подлинно, достоверно, душевно, но еще и обыграно.

Как бы слушали Раневскую, как зачитывались бы ее

воспоминаниями, хотя бы только из жгучего интереса ко всем этим именам. Даже сейчас, особенно сейчас, когда наконец-то их широко издают, когда, извлеченные из полузабвения, они становятся, признаемся, почти модой. А несколько лет назад каждое слово Раневской о них было бы воспринято как откровение.

Ведь она их знала. И помнила. Почему же не рассказала людям? Опасалась? Может быть, отчасти и это, но главное в другом. Лень? О нет! Написано было много. Говорят, несколько толстых тетрадей. И уничтожено ею. Это она сама мне сказала.

– Почему, Фаина Георгиевна?

– Я не писатель. А потом… ведь стихи их остались. Вот пусть читают их стихи. Это лучше всего.

Несколько страниц, написанных уже в последние годы, она дала мне прочесть (переписать не разрешила). Это была великолепная проза – сжатая, выразительная, глубокая и оригинальная. Потом сказала, что и эти листки разорвала. В другой раз – что отправила в ЦГАЛИ, в свой архив, хранящийся там. Может быть, там и прежние записи?

– Ну, еще кого читаете в концерте?

– Шекспира?!.

Я смотрю на Раневскую и чувствую, как волосы мои встают, дыбом и голова туманится… Вот сейчас возьмет и скажет: «Вилл!» Раневская поняла. Хохочет.

– А знаете, вот к Пушкину у меня такое отношение, как будто мы можем еще встретиться или встречались когда-то. Меня врач спрашивает: Как вы спите?» Я говорю: Я сплю с Пушкиным». Он был шокирован. А правда – я читаю допоздна и почти всегда Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Тогда я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все помним его, как я живу им всю свою долгую жизнь… Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин.

В ее отношении к великим (в том числе к тем, кого она знала, с кем дружила) был особый оттенок – при всей любви – неприкосновенность. Не надо играть Пушкина. Пожалуй, и читать в концертах не надо. А тем более петь, а тем более танцевать! И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо. Вот у Булгакова хватило такта написать пьесу о Пушкине без самого Пушкина.

– Но тот же Булгаков написал «Мольера», где сам Мольер – главная роль.

Отмалчивается, пропускает. Когда говорят, что поставлен

спектакль о Блоке, балет по Чехову, играют переписку Тургенева, что читают со сцены письма Пушкина, она говорит: «Какая смелость! Я бы не решилась». И чувствуется, что не одобряет. Обожая Чайковского, к его операм на пушкинские сюжеты относится как к нравственной ошибке. Пушкин для нее вообще выше всех – во всех временах и во всех народах. Жалеет иностранцев, которые не могут читать Пушкина в подлиннике. Возможность ежедневно брать с полки томик с его стихами считает великим счастьем.

Раневская болеет. На столике возле кровати том Маяковского. Раскрываю. Вижу ее крупный неровный почерк. И еще что-то другим почерком. Листаю – еще заметки, прямо на полях, с загибом вниз. Вот что там было: «Блистательной Фаине Георгиевне на память обо всех нас. Лиля. 2.3. 48».

Далее рука Фаины Георгиевны:

«Сейчас мне сказала Людмила Толстая, что Лиля Брик приняла снотворное и не проснулась… 78 г. августа 8-ое число. Она знала, что я крепко люблю Маяковского…»

На титуле: «Из моих любимейших. Раневская».

Среди текста книги, под стихотворением «Внимательное отношение к взяточникам»:

«А сами, без денег и платья придем,
поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам.
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зуб на зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
чтоб об этом больше никогда
не писать», —

рукой Фаины Георгиевны: «Гений! Бедный мой».

На последнем листе книги: «Такой мой, такой неземной, люблю, нестерпимо жалко. Люблю, жалею, тоскую по нем. Гений он скромный… Перечитываю. 83 й год».

Взяв фамилию «Раневская» из «Вишневого сада», Фаина Георгиевна обладала некоторыми чертами чеховской героини – например, расточительностью. Тратила не на себя! Она могла послать помогающую ей по хозяйству женщину за хлебом и за молоком и еще к директору гастронома – попросить для нее две

дорогие коробки хороших конфет. Одна коробка тут же вручалась в благодарность за принос молока и хлеба, другая назавтра – медсестре, которая делает уколы. Все это кроме денежной платы. Но ведь каждый день так нельзя. Деньги утекали, как песок между пальцев.

На продажу шли не просто дорогостоящие, но и дорогие сердцу картины. Постоянная забота – что подарить, чем отблагодарить. Щепетильность ее в долгах была невероятной.

– Когда закончились съемки «Золушки», я сразу получила какую-то большую сумму денег. То есть не большую, деньги тогда были дешевы, а просто очень толстую пачку. Это было так непривычно. Так стыдно иметь большую пачку денег. Я пришла в театр и стала останавливать разных актеров. Вам не нужно ли штаны купить? Вот, возьмите денег на штаны. А вам материя не нужна? Возьмите денег! И как-то очень быстро раздала все. Тогда мне стало обидно, потому что мне тоже была нужна материя. И к тому же почему-то вышло так, что я раздала деньги совсем не тем, кому хотела, а самым несимпатичным.

– В 46-м году мы были в Польше. Сразу после войны. Какая разруха, какой голод! Я проходила мимо рынка и увидела изможденную нестарую женщину, одетую ужасно. Она сжимала в руках что-то жалкое. Я подошла к ней. И она протянула мне этот непонятный жалкий сверток. Я вынула все деньги, которые были со мной, и попыталась ей вручить. Она отступила, подняла голову и сказала укоризненно: «Пани, я бедная, но я не нищая». – Раневская показывает с акцентом и с подробной передачей смен психологических состояний. – Как мне было стыдно и неловко, что я не могла ей помочь…

Раздать все… Стыдиться денег в руках… Толстовство? Да, пожалуй, очень близко. И ее вегетарианство было, конечно, не только выполнением рекомендаций врача, но проявлением собственного ее мировоззрения. Мировоззрения очень определенного, в принципиальных вопросах – неколебимого. Но выражалось оно всегда артистично – либо в виде разыгрываемых «случаев», показа характеров, либо в виде формул, суждений, – как правило, в парадоксальной, шутливой форме.

– Говорите, у него успех? Я рада. У него много успехов, и они ему нужны. Он талантливый… Очень! Но глубоко невежественный. Бедный! Бедный!

– Много бегают актеры. Вы все работаете на износ, на полное стирание себя. Что? Раньше? Да, пожалуй, тоже бегали. Да, помню. Это правда. Но в провинции мы очень много работали в театре – ведь каждую неделю премьера. Каждую неделю! А в Москве – да! Халтурили артисты. (Смеется.) Эта «халтура» бывала

высочайшим искусством. Но были концерты. Много. И кино. Мхатовцы много концертировали… Но это было голодное время. Вот я вам скажу, в чем беда современного театра… главная беда: халтурщиком стал зритель! Он позволяет актерам делать на сцене бог знает что и ходит в театр на что попало!

– Я жалею иностранцев. Ну, во-первых, у них нет Пушкина… Это я уже вам говорила… а потом, они всегда стоят около гостиниц и так громко смеются… и у них такая гладкая кожа на лице… и волосы хорошо уложены… и главное, такой громкий смех, с открытым ртом: «А-ха-ха-ха!» Это ужасно – быть такими богатыми, такими беззаботными… это ужасно… так громко смеяться посреди города… бедные! бедные!

Слово это у Раневской весьма многозначно. И вовсе не только жалость выражает оно. А еще, и очень часто, – отрицательную оценку, неприятие, неприязнь. В других случаях – наоборот, преклонение, еще в каких-то – родственность, полное понимание, единство. Все дело в интонации, в контексте. Что ж, на то она и актриса, на то и артистка.

…Развязка! Все тайны наружу. Поликсена заперта в своей комнате, и выхода ей оттуда назначено два – либо замуж по воле бабушки, либо в монастырь. По всему дому идет расправа. Пришла очередь и старой няньки. «Филицата!» – грозно окликнули из залы.

Побежала, затрусила, переваливаясь уточкой: «Кому что, а уж мне будет». И поначалу на все окрики и риторические вопросы: «Как это ты недоглядела? Аль, может, и сама подвела?» – отвечает привычной полуправдой: дескать, «жалость меня взяла», думала, «поговорят с парнем, да и разойдутся», хотела как лучше, а вон что вышло – виновата!

«– Ну, сбирайся.

– Куда сбираться?

– Со двора долой. В хорошем доме таких нельзя держать».

Тут что-то случалось с глазами Раневской, что-то случалось со светом и с атмосферой на сцене. Не было ни вздрога, ни «аха». Вообще никакой реакции. Странный покой. А глаза смотрели с какой-то завораживающей… неопределенностью. Испуга нет, обиды… нет, гнева, упрека… мольбы – ничего нет. Спокойная задумчивость. И еще улыбка. Чуть-чуть. И тоже без выраженного состояния – и не насмешка, и не горечь, и не веселье.

«– Во-о-от выдумала! А еще умной называешься… Сорок лет я в доме живу…

– С летами ты, значит, глупеть стала.

– Да и ты не поумнела, коли так нескладно говоришь…».

Вместо привычного юления да поклонов Филицата всерьез

обсуждает оскорбления, которые ей сыплют, и всерьез отвергает их. Отстраненность человека, перешедшего какую-то важную грань.

«Кто ж за Поликсеной ходить-то будет? Да вы ее тут совсем уморите…Я вчера… у ней изо рта коробку со спичками выдернула… Нечто этим шутят?»

Сошальская в роли Барабошевой находила в этой сцене по-настоящему суровые, даже жесткие краски. Никаких мелких эмоций по данному поводу, никаких «захлестов» или сказанного «в сердцах». Мавра решение принимала, как камень клала. Это философия, давшаяся суровым своим опытом и еще более суровыми опытами над другими.

«Кто захочет что сделать над собой, так не остановишь. А надо всеми над нами бог… А тебя держать нельзя: ты больно жалостлива», – отрезала хозяйка.

Вот так-то! Пусть слабый сгинет, пусть больной умрет. На все божья воля. Ни жалости, ни пощады! Нянька уловила эту ноту. Да, все всерьез. И Поликсене, как давеча Платону, «душу вынут», и старая нянька по миру пойдет. Филицата еще не знает, что сделает, но говорит, как никогда не говорила или десятки лет не говорила – подчеркнуто на ты, нисколько не угождая, не сердясь и не прося. Заговорила, как в вечность глядя.

«Не к одной я к ней жалостлива, и к тебе, когда ты была помоложе, тоже была жалостлива. Вспомни молодость-то…».

И дальше опять включается тема основной интриги пьесы.

«А ты забыла, верно, как дружок-то твой вдруг налетел? Кто на часах-то стоял? Я от страху-то не меньше тебя тряслась всеми суставами, чтобы муж его тут не захватил».

Это возникновение из дальних времен фигуры Грознова, как молодца-удальца, неожиданная материализация мифа о любви, «первой красавицы в Москве» к лихому воину – все это забавно и снова в жанре комедии. Так и игралось. И зрители тут много смеялись. Однако раз приоткрывшаяся пропасть, бездна – не забывалась. Есть рубеж, за который нельзя перейти безнаказанно. Не знаю, имел ли в виду Островский такой оборот в этой сцене, но у Раневской он был. Был с первой читки и на всех репетициях. И на всех спектаклях. Для меня основная тональность спектакля строилась с учетом этой ноты – чисто трагической, найденной Раневской на самом раннем этапе работы. Именно от этой ноты не успокоительная точка ощущалась в названии, а все растущий вопросительный знак: «Правда – хорошо, а счастье лучше???» Неужто так? И во веки веков? И не соединить? И не выстоять правде против счастья?

«– Солдатик этот бедненький давно помер на чужой стороне.

– Ох, не жив ли?»

А зрители-то Грознова уж во всех видах повидали! Во как закручено!

«– Никак нельзя ему живым быть, потому я уж лет двадцать за упокой его души подаю: так нешто может это человек выдержать?

– Бывает, что и выдерживают».

Тут уж хохот в зале стоит, а то и аплодируют.

«– Что я прежде и что теперь – большая разница; я теперь очень далека от всего этого и очень высока стала для вас, маленьких людей.

– Ну, твое при тебе.

– Так ты пустых речей не говори, а сбирайся-ка подобру-поздорову! Вот тебе три дня сроку!»

Ну что ж? Может, это и сказка. И три дня, как из сказки. И мы, зрители, знаем, что Грознов сейчас явится из своего тайника и уж наверное сломает все железные решения хозяйки. И Филицату тогда оставят доживать жизнь в доме, а не выкинут на улицу. Может, сказка и с добрым концом. А может, и нет.

Вот Раневская кинулась вслед за хозяйкой, а двери перед ней захлопнулись. Ткнулась. Отпрянула. Огляделась невидящими глазами. И стала бормотать: «Да я-то хоть сейчас… (это про уход). Поликсену только и жалко, а тебя-то, признаться, не очень… Сорок лет я в доме живу… сорок лет… Поликсену жалко… сорок лет… Поликсену жалко…»

Все слова Островского… Все Филицатины. Все из этой сцены. Только повторены многократно и в том порядке и ритме, который импровизировался Раневской на каждом спектакле по-разному.

«Жалко… Поликсену… А тебя, Мавра Тарасовна, не жалко… Но раньше – такая уж я от рождения – и к тебе была жалостлива, когда ты помоложе была».

Вот сколько раз слово «жалость» варьируется! «Бедные! Бедные! Я их (его, ее, вас) жалею», – говорит Раневская в жизни. Но я уже отмечал многозначность этого слова в ее устах. Та же многозначность звучала и на сцене. И кроме буквальной жалости через это слово прошли любовь, христианское прощение, непримиримость и даже приговор. Так актриса повела свою Филицату от благостности, от вполне возможной здесь условной сказочности к реальной психологической драме живого человека. И в том, как уходила Филицата после этой сцены, была драма одиночества, драма брошенности, драма человеческой неблагодарности.

Потом будет еще встреча Мавры Тарасовны с Силой Грозновым. Будет финал, где полетит со своего поста злодей Мухояров и раздавлен будет сынок Амос, а Платоша и должность

получит, и Поликсену в жены – ну, как в сказке, все к одному. И будет «конгресс», где все персонажи рассядутся на праведный суд. И в центре все та же Мавра – непоколебимая и теперь уже праведная. А сбоку, последняя в ряду, Филицата – Раневская. Она помалкивает. И тоже вроде в «конгрессе» сидит. И ей тоже награда вышла – из дому не прогнали, доживать позволили. А ведь сделала-то все дело она! Грознова разыскала, Поликсену уберегла, Платона от тюрьмы спасла, все повернула она. По сказке, по веселой комедии – крутила добрая комическая старуха интригу и выкрутила. По жизни… а поглядите на Раневскую, сидящую сбоку. Вот и видно, что по жизни. В ней! В ней назревает последняя нота спектакля, ее последний уход.

Как я виноват! Перед зрителями, перед памятью о Раневской. Телевидение решило снимать спектакль. Прямо из зала, по ходу. А я, как режиссер, возразил – качества не будет. Поговорил с Фаиной Георгиевной. Она, конечно, против. Для нее театр с камерами не совместим. Хотели снимать скрытой камерой. Но я-то знал, что много совсем темных сцен. Значит, надо будет добавить свет, и сильно добавить. Раневская заметит, разволнуется. И вообще – надо подготовиться, снять достойно. Отложили. Снимем осенью. Кто знал, что время уже отмерено, что не месяцами, а днями считать надо. Оправдания есть, а вина остается. Не сняли.

Съемка была назначена на 19 мая 1982 года. И отменена. А спектакль шел. Это был страшный спектакль. С первой сцены она стала забывать текст. Совсем. Суфлируют из-за кулис – не слышит. Подсказывают партнеры – не воспринимает. Отмахивается. Мечется по сцене и не может ухватить нить. Вторая картина – совсем катастрофа. Мы сидим по двум сторонам стола. Сколько раз уж это было! Ну, случалось, и забывалось что-то. Но был уговор: в этом случае Грознов сам намекнет на то, что должна посоветовать ему Филицата. Если пауза затянется, Грознов повернется к няньке и скажет громко: «Я, отдохнувши, сегодня же понаведаюсь к воротам!» – и подымет средний палец, как восклицательный знак. А Филицата встрепенется, шумно втянет воздух и, весело сверкая глазами, не спеша, подробно, звучно: «Да-а-а! Вы, отдохнувши, сегодня же понаведайтесь к воротам!»

И если этим не кончилось – ну что ж, поехали дальше. Грознов как бы вспомнит: «У вас там всегда либо дворник, либо садовник сидит?!» А Филицата: «Вот-вот… у нас завсегда либо дворник, либо кучер (интонация подчеркивает – кучера пропустил, Островского точно говорить надо), либо садовник у ворот сидят».

Думаете, скучно было два раза один и тот же текст слушать? Да нисколько! Когда такой казус случался при хорошем настроении – только сверкало все. Раневская так лихо, так красиво и смачно выкладывала интонацию при повторе текста! И еще глазами намекала (а потом за кулисами и говорила): «Вот как славно под суфлера-то играть. Зубрить текст – дело, конечно, святое, но все же не главное. Главное – живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить. Подать текст зрителю! Суфлер должен подать текст актеру, а актер – зрителю. Вот театр! Только это уметь надо». Раневская – умела. Когда случались такие диалоги-подсказки, весело бывало. И Галина Костырева – третья наша партнерша по этой сцене – сидит, улыбается счастливо. И по залу ходят волны доброжелательного тепла. А память что – память слабеет с годами. Вот душа не слабеет. Не должна слабеть, если сам ее не слишком изнашиваешь. Раневскую всегда смешило излишнее восхищение чисто техническими, легко поддающимися анализу сторонами актерского дела.

– Вася Качалов обожал читать наизусть. Вы не подумайте, я не из фамильярности зову его Васей – это он настаивал. Почему-то стеснялся, если звали Василием Ивановичем… Читать обожал. Это было трогательно, но иногда мучительно – он слишком много знал наизусть. И вот идет концерт. Публика в восторге. Зал рукоплещет. Качалов читает еще, еще… Финал. За кулисы врывается человек, подбегает к Качалову и падает перед ним на колени, руки в стороны и кричит: «Какая память!» – Раневская смеется. – Какая память – вот и все, что он оценил.

– Ко мне после спектакля «Дальше – тишина» входит пожилой такой, сверхинтеллигентный театрал. Голова слегка трясется. А я усталая, еле дышу. Он говорит: «Великолепно, великолепно! Извините, ради бога, но сколько вам лет?» А я говорю: «В субботу сто пятнадцать». Он: «Великолепно! В такие годы и так играть!»

Смеется, смеется Раневская.

Но в тот вечер – 19 мая – все было не так. Не забывчивость, не выпадение куска текста из памяти, а какой-то общий кризис. Кричат, повторяют – нет, не слышит, не воспринимает, не может ухватить нить действия. Начнет говорить и мучительно заикается на одном слоге. И мечется – к кулисам и обратно, к кулисам и обратно. И такая мука в глазах, такая затравленность – будто материализация страшных предпремьерных снов-кошмаров, которые знает каждый актер. При полном зрительном зале позабыто все, ты лишился всех своих умений, всех знаний. Ты беспомощен, и тысячи глаз наблюдают твою беспомощность и ждут от тебя чего-то. Мы все, участники спектакля, были пронизаны этим кошмаром Раневской. Каково же было ей?! Что

делать? Несколько раз я уже решал закрыть занавес и прервать спектакль. Но тогда – скандал! Тогда – признать, что все это не просто накладки, ошибки, а катастрофа, и тем, может быть, еще более ранить Раневскую.

Кончилась ее сцена. Почти ничего не произнеся, она уходит, с трудом передвигая ноги. Мы с Костыревой играем дальше. Но играем как автоматы. Наше внимание, наш слух – всё там, за кулисами. Слышим, как кинулись к Фаине Георгиевне, как она глухо то ли плачет, то ли стонет… Дотянули до антракта. Раневская всех ругает. Одних за то, что тихо подсказывали. Меня за то, что слишком явно подавал текст и тем выдал ее зрителям. Потом утихает. Молчит. Ей плохо – это видно. Нельзя продолжать спектакль. Антракт все тянется. Но последнее слово – стоп, хватит – сказать не решаюсь. Да и кто бы решился?

К Раневской подошли Демент и Морозов с гитарами. Слышу – тихонько поют… Вот и Раневская присоединила свой голос. Поют. Потом слышны ее рыдания. И опять гитара. Я не зашел к ней. Рискнем. «Начинайте акт, Галя», – говорю я помрежу Ванюшкиной.

Когда наступил момент выхода Фаины Георгиевны, всех нас буквально трясло от волнения и тревоги.

«Амос Панфилыч давно уехал?» – спрашивает Мавра. «Да он, матушка, дома… Что человека из дому-то гонит? Отвага. А ежели отваги нет, ну и сидит дома…».

Голос Раневской звучит ясно. Никаких заиканий. Так плавно, мощно, как будто и не было кошмара первого акта.

«– Куда ж это его отвага девалась?..

– Одно дело, что прохарчился, матушка».

Идет, идет! Да не просто идет, а как-то небывало вольно, динамично… Сцена с Маврой Тарасовной, беседка (диалог с Баранцевым – весело, озорно, несколько раз публика аплодирует, по ходу сцены), проход с Грозновым (отлично – легкость, темп; только когда идем, взявшись за руки, в глубину и зрители не видят, шепнула: «Я так устала, так устала»), сцена изгнания с Сошальской – блестяще.

У меня нет доказательств, но поверьте – во втором акте 19 мая необыкновенная Раневская была необыкновенней самой себя. Может быть, так казалось по контрасту с первым актом. Может быть, мы просто все были счастливы, видя, что Фаина Георгиевна воспряла духом. Но и актеры, и техники театра, и зрители испытывали подъем, счастливое единение, несравненное чувство миновавшей опасности. А Раневская купалась и творила в волнах любви и доброжелательства. Если бы этот спектакль… Я опять про телевидение… Если бы шла съемка, то и теперь можно было

бы увидеть жесточайший кризис великой актрисы, и ее воскресение. Это было бы великой школой и профессиональным уроком. Но может быть и другое: при съемке и добавочном свете вообще все пошло бы иначе. Не было бы кризиса. Не было бы и такого взлета. Или не смогла бы выйти из кризиса из-за обилия добавочных раздражителей. Ничего нельзя проверить. Все бывает лишь так, как оно было. И в жизни и на сцене. Тот вечер не запечатлен на пленке, не записан. Все это осталось только в памяти живых свидетелей. Незабываемая мимолетность, более всего отражавшая Раневскую, царствовала и здесь.

Была овация. Были общие поклоны. Был сольный выход Раневской вперед – как всегда, и взрыв рукоплесканий – как всегда. И цветы. И наши, партнерские аплодисменты ей, и ее кокетливое удивление – мне? такой успех? за что?.. И общий выход к самой рампе, взявшись за руки… как всегда. Я чувствую, как она тяжело опирается на мою руку и шепчет: «Больше не могу, больше не смогу»… Все почти как всегда. Но казалось (или на самом деле так было?), что мы переживаем необыкновенные минуты, редкие мгновения Театра с большой буквы, победу духа в искусстве.

В роли Филицаты Раневская на сцену больше не вышла. Еще один раз она играла спектакль «Дальше – тишина». Он был последний в ее жизни. Болезнь усиливалась. Порой ослабевала, но не оставляла.

– Я должна уйти из театра. Я же не играю. Не имею права получать деньги. Я больше не смогу играть.

Иногда говорила иначе:

– Неужели театр не заинтересован, чтобы я играла? Публика ждет. Я получаю бесконечное количество писем. Они хотят меня видеть. Найдите пьесу. Неужели вам нечего мне предложить?

И снова, как перед началом работы над Островским, мы перебираем множество имен и названий. Но сил все меньше. В реальность осуществления мы, кажется, оба уже не верим.

Однажды еще полыхнула надежда. Прислали переводную пьесу «Смех лангусты»: последние дни жизни Сары Бернар. Действуют она и ее секретарь. Великая актриса не может передвигаться, сидит в кресле. Перебирает, перечитывает дневники, записи. Вспоминает. Пьеса сильная. С достаточным, правда, привкусом коммерции, с учетом современной моды. Но это пустяки. Главное есть – хорошо написанная роль, в которой можно почти не вставать с места, не учить текста, иметь суфлера и… рассказать, пережить заново жизнь актрисы. Роль для Раневской.

Она прочла. На следующий день позвонила – нравится!

– Нравится. Боюсь только, хватит ли сил… Пьеса хорошая. Но я ведь уже написала заявление. Вы знаете, я собираюсь уходить из театра. Я давно ничего не играю.

– Вас не отпустит театр. Заявление вам вернут. А вот и роль. И сделать надо на Малой сцене. Тогда можно все осуществить без задержек. Никаких декораций. Сто двадцать зрителей – все-таки поменьше надо сил, чем на тысячу двести человек.

– Да. Я подумаю. Название странное – что такое «лангуста»? Это ведь что-то вроде омара. Это животное из моря. Неужели оно смеется? Этого не может быть. Когда же лангуст смеется? Надо изменить название.

Через день по телефону:

– Я не буду играть. Я видела Сару Бернар на сцене. Очень давно. Я не смею ее играть. Это… это… только нахал мог написать пьесу о великой Саре Бернар. Но я не нахалка. Не буду играть.

– Так другие сыграют, Фаина Георгиевна! И не задумаются. Но вы-то в этой роли сможете высказаться как никто. И о Саре Бернар вспомнить, и о себе рассказать. Это свобода, которую только вы сможете использовать на высшем и благороднейшем уровне.

После паузы:

– Никто не посмеет ее играть.

– Посмеют.

– Ну, значит, есть смелость. Значит, нет никаких запретов. Бедные, бедные. Я играть не буду. Юнгер мне тоже хвалила эту пьесу. Давайте ей отошлем перевод. Пусть она сыграет. Она славная. Я люблю ее… Но неужели решится? Бедная…

…Было очень холодно и скользко, когда мы с Ниной Станиславовной Сухоцкой медленно двигались к дальнему зданию кунцевской больницы. К Раневской. Сухоцкая режиссер, деятель театра, в прошлом сотрудница Таирова – наверное, самая близкая подруга Раневской многих последних лет, заботливая, всезнающая, всепрощающая. Врачи сказали категорично – инфаркт. Раневская упрямо не хотела в больницу.

– Быть дома! С моей собакой. Никакой больницы. Я не поеду.

Нина Станиславовна организовала ночные дежурства сестер на дому, друзья и сама Сухоцкая дежурили днем. Но Раневская задаривала ночных сестер конфетами, подарками за одну услугу – уйти, оставить ее. Она не терпит беспомощности, Раневская! Она готова скорее действительно оказаться без всякой помощи, чем ощутить собственную неполноценность через хлопотание

других. Прекрасная гордость великой актрисы! Прекрасная-то прекрасная, а на деле как быть? Что делать? Инфаркт у человека. И много лет этому человеку…

Раневская лежит неподвижно. Только тяжелое дыхание. И глаза… то полуприкрытые веками, тускнеющие, то вдруг остро сверкающие смесью полного понимания и юмора. И все-таки ей очень плохо. В больничной палате нависла тоска. Об этом и говорит Фаина Георгиевна. Потом долго тяжело дышит. Вдруг:

– Хотите я спою? – Тяжелое дыхание. – Это старая песня. Я люблю ее. – Тяжелое дыхание.

Пауза. Голос. Негромкий, но полнозвучный, как на сцене, медленно, с большими остановками после каждой строки:

«Дай мне ручку…
Каждый пальчик,
Я их все… пере-ца-лу-ю…
Обниму тебя еще раз
И уйду…
И… затоскую…
Обниму тебя еще раз
И уйду…»

Слезы медленно поползли по ее щекам. Глаза закрыты. Губы вздрагивают.

«… И за-тос-ку-ю».

В палате тишина и неподвижность. Только потрескивает прибор, на экранчике которого зеленой волной бесконечно вычерчивается ритм сердца Раневской.

Бежать за врачом? Давить на кнопку тревоги? Позвать ее, Фаину Георгиевну, из ее забытья… или…

Глаза открылись. В них нет слез:

– Вам понравилось, как я это спела? Да, получилось. Но вы не слышали настоящего исполнения. Ах, как цыганка одна пела это! Никогда не забуду. С таким подъемом и с такой печалью… С высоко поднятой печалью. Но я тоже спела неплохо, правда? Знаете почему? Потому что люблю этот романс. Его надо петь каждый раз, как в последний раз. Или как в первый. В этом и есть тайна исполнения.

Конечно, правильно, что в нашем спектакле финал отдан Филицате. Да – Раневской, любимейшей, популярной,

несравненной артистке. Но не только Раневской – еще и ее Филицате, такой, какою она создала ее.

Идет «конгресс». Идет суд Мавры Тарасовны, идет перераспределение благ. Платон – он хорош, мил, честен, но… забывчив. Забыл он кошмар прошлой ночи, когда «душу вынули», когда холодно составили план расправы над ним, над его Поликсеной, над их любовью. Теперь хозяйка его, Платона, вознесла в главные приказчики! А бывшие верха – тестюшка Амос и «химик» Никандра свергнуты. За теми же заборами да при тех же порядках поменяли их местами. И кричит забывчивый Платон: «Вот она, правда-то, бабушка!» А Филицата молчит. Обнимает любимицу свою Поликсену да котенка поглаживает. Потом и Поликсена уйдет – к центру, к Мавре Тарасовне, – там уж и руки ей с Платоном соединяют.

Этого-то и хотела Филицата, за это-то и боролась. Этому и радуется – одна, сбоку. И еще крикнет Грознову: «Ну-ко, служивый, поздравь нас!» – нас поздравь, общий праздник. Грянули хором:

«Кого-то нет, кого-то жаль,
Куда-то сердце рвется вдаль.
Я вам скажу один секрет:
Кого люблю, того здесь нет».

И тут Филицата встала… пошла к Поликсене, обняла… потом дальше пошла, дальше… от нас, в глубину, туда, где открылись за заборами другие заборы, церкви, сады Замоскворечья… Поет:

«Корсетка моя,
Голубая строчка,
Мне мамаша приказала —
Гуляй, моя дочка!
Я гуляла до зари,
Ломала цветочки.
Меня милый целовал
В розовые щечки».

Все фигуры на первом плане неподвижны и почти не освещены. А Филицата все движется уточкой на освещенной части сцены, поет и уходит, уходит от нас, пока занавес не закроет всю картину.

Реальный уход Филицаты из дому? Или ее душевная тоска, сон об уходе? Или просто песня с приплясом на широком дворе?

Или уход-умирание: прощение, любовь и непримиримость, и высочайшее чувство морального идеала. Безмерная печаль и искренняя улыбка. Все вместе.

Так умела играть Раневская.

…А болезнь прошла. Почти. Пришла другая. И снова прошла. И опять лето. В жаркое солнечное утро завтракаем у нее на кухне. Фаина Георгиевна оживлена, шутлива:

– Ешьте, вы мало едите. Вот творог. Хотите я вас научу делать творог? Он страшно полезный. Я сама его делаю. Если бы вы знали, как он мне надоел. Не ешьте творог, ешьте нормальную пищу. Погладьте моего Мальчика, видите, как он смотрит на вас. Не смей так смотреть! Иди ко мне! Вот тебе, ты любишь это… не ест! Какая наглость!.. Ну, ляг здесь, мой хороший… Вы знаете, как он переживал, когда я болела! Он так страдал за меня! Ночью я упала и не могла подняться. И некого позвать… надо терпеть до утра… а он пришел, стоит рядом и страдает… Я люблю его… у меня ведь нет детей… его подобрали на улице… избитого, с переломанной лапой… Он понимает, что я спасла его… А если я умру, что с ним будет? Он пропадет. Он понимает это и поэтому желает мне здоровья. Нет… нет, нет… он просто меня любит… как я его… Хотите я расскажу вам о Давыдове? О Павле Леонтьевне Вульф… Вы ешьте, ешьте, это хороший сыр… мне его достали… давайте выпьем кофе… да… о чем я хотела рассказать? Вы знаете, я странная старая актриса. Я не помню моих воспоминаний.

Раневская смеется.

Каждая встреча с ней, а их немало было за эти годы, отпечаталась в памяти. Ее личность, ее жизнь, ее влияние – драгоценны. Помню, как она молчаливо велела не прикасаться к великому, не ворошить, оставить целостным, нетронутым. Она и сама великая и не захотела рассказать о себе. Помню об этом. И все же рассказал, не мог не рассказать. Я знаю немногое из ее огромной жизни. Кто знает больше, пусть расскажет больше. Кто сможет, пусть промолчит и тем лучше исполнит ее невысказанную волю.

Я так люблю жизнь
Воспоминания Фаины Раневской

Татьяна Исканцева

27 августа 1896 года родилась актриса Фаина Георгиевна Раневская.

Перед Фаиной Георгиевной Раневской театр и кино в долгу: за свою жизнь она сыграла не так уж и много. Зато каждая из ее ролей – маленький шедевр. Раневская была потрясающей актрисой и совершенно уникальной личностью.

Этим записям – двадцать с лишним лет. Я тогда пришла к Фаине Георгиевне Раневской за интервью. Скромная квартира, старая, потертая мебель, списанная из Театра имени Моссовета, где Раневская работала. Украшали комнату лишь высокие, под потолок, растения в кадках.

Еще были полки с множеством книг, которые хозяйка всем раздаривала. А на стене – фотографии Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Максимилиана Волошина, Владимира Маяковского, Галины Улановой, Василия Качалова, с надписями, полными любви и восхищения. Автограф Дмитрия Шостаковича был заклеен полоской бумаги.

– Он обо мне очень хорошо написал. Неловко показывать, – объяснила Раневская.

Встретила меня Фаина Георгиевна, сидя в любимом кресле и зябко кутаясь в темное драповое пальто с огромными пуговицами. Почему-то эти пуговицы особенно запомнились. И еще – поразительно светлое, лучащееся лицо Раневской под шапкой седых волос. О себе Фаина Георгиевна говорила мало, скупо, больше – о дорогих ее сердцу людях.

А потом Раневская в уютной кухне угощала меня кофе и дефицитными деликатесами из «заказа». От хозяйки ни на шаг не отходил лохматый пес-дворняга по кличке Мальчик. Когда-то он попал в эту квартиру с перебитыми лапами и был бесконечно предан выходившей его актрисе. Помню, как я была счастлива, когда Раневская доверила мне «прогулять» Мальчика по Тверскому бульвару. Сама Фаина Георгиевна из-за больных ног ходила с трудом и собачьи прогулки обычно поручала соседке, отдавая ей за это половину скудной театральной зарплаты.

А брать интервью мне так и не пришлось. Раневская просто вручила исписанные четким почерком страницы: «Ответы уже готовы. А вопросы придумаете сами!»

Вот ее воспоминания.

В 1992 году редакционный совет британской энциклопедии Who is who включил Раневскую в десятку самых выдающихся актрис XX века.

Обморок «От Станиславского»

Со Станиславским я встретилась раз в жизни. Я переходила Леонтьевский переулок, где он жил, и увидела седую голову Константина Сергеевича – он ехал на извозчике. От неожиданности в трансе закричала: «Мальчик мой дорогой!» Он расхохотался, кивнул мне и послал воздушный поцелуй. Родилась я в конце XIX века, обмороки были еще в моде – и я широко этим пользовалась. После воздушного поцелуя моего божества я, естественно, поспешила упасть в обморок. Систему Станиславского я не знаю, книга же его «Моя жизнь в искусстве» – всегда со мной. Станиславский-актер был моим потрясением. Особенно «въелся» в меня его Крутицкий из комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

Годы странствий

В театральную школу я не была принята по неспособности. Педагогом, сделавшим меня актрисой, была известная в то время артистка Павла Леонтьевна Вульф – человек необыкновенной доброты. Она стала со мной работать, устроила в театр в Крыму, куда была приглашена на гастроли. В Крыму нам очень помог Максимилиан Волошин – иначе мы там умерли бы с голоду. Павла Леонтьевна была ученицей прославленного артиста Давыдова, другом Комиссаржевской. И мне она преподала то, что узнала от своих учителей. Лучшие традиции театра стали мне дороги, а все, что связано с карьеризмом, саморекламой, – чуждо.

Мой Пушкин

Мне так близок Пушкин! Я не расстаюсь с ним и не перестаю удивляться его гению. Пушкин – это непостижимое чудо и… мой главный режиссер. Помните, Лаура в «Каменном госте»:

«Я вольно предавалась вдохновенью,
Слова лились, как будто их рождала
Не память рабская, но сердце…»

Когда я прихожу с репетиции, кидаюсь без сил на кровать, а там пушкинский том открытый. Читаю то, что давно знаю наизусть, – и все равно нахожу новое. И всегда плачу. А знаете, я

ведь тридцать восемь лет прожила в доме Натали на Большой Никитской. Там роскошные комнаты разделили на коммунальные клетушки. И я жила в лакейской.

Ахматова и другие

Анну Андреевну Ахматову я очень любила, молилась за нее. Она была моим идолом. (Когда мы говорили с ней о Пушкине, я от волнения начинала заикаться. А она вся делалась воздушная, неземная. Памятник Пушкину в Москве Ахматова не любила – уверяла, что Александр Сергеевич так никогда не стоял. И ненавидела двух женщин – Наталью Николаевну Гончарову и жену Достоевского Анну Григорьевну Сниткину. Говорила: «За мещанство!»

Она считала, что Достоевский женщин не знал и Настасью Филипповну в «Идиоте» поэтому придумал: «Никакая женщина не бросит сто тысяч в печку, в камин, в огонь!» Ахматова очень «чувствовала» писателя. Когда я впервые читала «Мертвые души», то поначалу смеялась, а потом стало страшно – так и не дочитала. Сказала об этом Анне Андреевне, а та в ответ: «А знаете, кто такой был Гоголь? Дьявол, душенька!» Я испугалась, закричала даже… Докторскую мантию, которую Ахматова получила за границей, она называла смешно – «ученое манто». Еще, помню, в Анну Андреевну любился Гаршин – племянник писателя – и она собралась за него замуж. Я тогда сочинила двустишие:

«Давно пора тебе, ton ange,
Сменить свой нимб на флердоранж».

Ахматова так хохотала!

О театре

Я «переспала» почти со всеми театрами Москвы – все искала святое искусство. В телевизионной передаче обо мне ведущая спросила: «И где же вы его нашли?» Я ответила: «В Третьяковской галерее». А в наш театр вхожу, как в дворницкую, только вот квасом не пахнет. Мои любимые роли – в пьесах Чехова. Переиграла почти во всех – конечно, то, что могла. В молодости очень любила роль Наташи в «Трех сестрах». Меня всегда интересовал вопрос – почему я, человек душевно опрятный, ужасно люблю играть негодяек? Почему наслаждаюсь, когда играю спекулянтку Маньку в «Шторме» – роль, которую с разрешения автора сочинила сама? Наверное, мне просто интересно показывать то, что во мне самой отсутствует. Сейчас вот репетирую няньку Фелицату в комедии Островского «Правда

– хорошо, а счастье лучше». Но Фелицата мне нравится, она – добрая. А знаете, почему эта пьеса сейчас современна? Там все – жулики!

О себе

Ненавижу о себе говорить или писать. Слова Стендаля: «Когда у человека есть сердце, лучше, чтобы его жизнь не бросалась в глаза», – это и мой принцип. Вот только не понимаю, как я с таким принципом пошла на сцену.

Я сама – застенчивая. Играть боюсь страшно! А играю шестьдесят лет. И все боюсь, боюсь…

Как-то меня спросили, почему я живу так скромно, почти бедно – нет ни фарфора, ни хрусталя. По-моему, разговор был в кухне, я что-то жевала. И сказала: «Мое богатство – в том, что мне оно не нужно!»

«Театр будет жить вечно…»

Погасли окна в доме Фаины Григорьевны Раневской. Ушла от нас легендарная, объединявшая своим творчеством несколько поколений признательных зрителей, поистине народная артистка, отдавшая театру и кино семьдесят лет жизни.

У нас была возможность несколько лет назад стать читателями ее мемуаров. Но тогда Фаина Григорьевна, почти завершив их, посчитала нескромным выставлять напоказ свои чувства. И решительно, темпераментно, как и все, что она делала в жизни, рукопись уничтожила.

Но сегодня, обратившись к многочисленным публикациям об актрисе, статьям, интервью, корреспонденциям, рассказам коллег ее и друзей, мы сможем в какой-то степени представить, насколько интересной могла быть книга о жизни этой талантливой, мудрой женщины. Рассыпанные по страницам газет и журналов в разное время высказывания Ф.Г. Раневской, ответы на вопросы читателей, корреспондентов, теплые приветствия, обращения к друзьям, зрителям, размышления об искусстве, жизни, призвании поражают глубиной мысли. В них звучит неповторимый голос великой актрисы Фаины Григорьевны Раневской.

…В семнадцать лет я впервые попала в МХАТ на «Вишневый сад». После спектакля, когда все разошлись, как зачарованная, продолжала сидеть в темном зале. Кто-то меня окликнул: «Спектакль давно кончился, иди домой!» – «куда же я теперь пойду?!»

…Станиславский-актер был моим потрясением. До конца дней буду его вспоминать, а видела более полувека назад.

Особенно «въелся» его Крутицкий из комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Систему Станиславского не знаю, книга же его «Моя жизнь в искусстве» – всегда со мной.

* * *

Мне кажется, что актер должен меньше говорить о себе, а стараться больше и лучше играть.

В роли я не забываюсь. Сумасшедшие только забываются – так и парик недолго с себя сорвать. Живу жизнью того, кого изображаю, а не забываюсь.

Партнер для меня всё. С талантливым становлюсь талантливой, с бездарным – бездарной.

Если я вижу в руках партнера скомканные, слежавшиеся листки со словами роли – я знаю, что мы с ним говорим на разных языках. Мелочь? В пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться, на пустяки же, как правило, внимания не тратят.

Материал для работы – и свое, и чужое. Черты роли беру от всех – от себя самой, от знакомых, незнакомых, воображаемых…

…Всё зависит от роли. Иногда образ возникает мгновенно, в воображении, и я сразу начинаю видеть, понимать. Иногда – от внутреннего. Иногда – от внешнего. А внешнее – оно тоже от внутреннего. Ведь «стиль – это человек»!

Моя учительница, прекрасная русская актриса Павла Леонтьевна Вульф, говорила: «Будь благородна в жизни, тогда тебе поверят, если будешь играть благородного человека на сцене».

Я мечтала всю жизнь сыграть учительницу. Жить для других – вот чего недоставало многим моим героиням. Ведь это прекрасно – жить для других! Это подвиг…

* * *

Счастлива, что родилась в Таганроге, городе, где родился Чехов…

Родина – это то главное, что создает твою личность. Я просто не представляю, как можно жить без Родины.

Захочется душевной передышки – тянусь к полке за чеховским томиком. Пушкиным я дышу. Мне иногда кажется, что он существует совсем рядом.

…Александр Сергеевич Пушкин был и остается спутником

моей жизни. Он был со мной всегда, все долгие годы, что я живу на земле, пожалуй, еще прежде того, как я научилась читать.

Однажды я видела его во сне… Мне снилось, что он в крылатке и цилиндре шел то ли по Тверской, то ли по Новинскому бульвару. Он уходил от меня, и я видела его только со спины. Но я знала, что это Пушкин. Он ступал легко, поигрывая на ходу знаменитой тяжелой тростью. И когда я поняла, что через секунду Пушкин уйдет и так никогда не увижу его лица, я окликнула: «Александр Сергеевич!». Пушкин обернулся, я увидела его светлые глаза, вьющиеся русые волосы его бакенбард; и Пушкин вдруг улыбнулся мне своей белозубой африканской улыбкой. И исчез…

Этому моему сну завидовала Анна Ахматова.

Очень люблю животных. Еще люблю читать. Но всему на свете предпочитаю работу. Это моя страсть, моя боль, мой праздник.

Каждый раз боюсь играть – страшно!

* * *

Как в дни, когда я начинала свою жизнь в театре, так и теперь я знаю, что служение театру – в существе своем служение людям, служение правде. Русский театр всегда был средоточием духовной жизни общества, его поиски всегда были исканиями нравственного, его триумфы всегда были победами его передовых идей.

Вот почему кажутся мне неверными пророчества неизбежного конца театра в век телевидения и кино. Театр будет жить вечно – не может умереть великое чудо возникновения искусства на глазах зрителя.

Театр – это ежедневный праздник. Именно поэтому он обязан быть вдохновенным и кропотливым трудом.

Меня всегда привлекали образы неустроенных, обойденных счастьем, но непременно сильных, интересных людей, богатых и сложных натур. Несчастья и слабости бесцветных, сереньких людей, даже их «трагическая» неустроенность не вызывают во мне ни сострадания, ни любопытства.

Какая комедия нравится? Чаплинская. Смех, залитый слезами.

Что больше всего рассмешило? То, над чем меньше всего хотелось смеяться.

Только ролями с большой идеей, с большими мыслями я хотела бы заслужить любовь зрителя. Иногда мне кажется, что я

по-настоящему еще не сыграла такой роли за долгие годы моей актерской работы.

Я в жизни своей не сделала 99 процентов из ста.

Театр – мой праздник

Ольга Свистунова

Сегодня это воспринимается как казус, но путь в искусство Фаины Георгиевны Раневской начался с провала: ее не вязли ни в одну из театральных школ – «По неспособности».

Наверное, будущая актриса уже с первых шагов была так ошеломляюще своеобразна, ни на кого не похожа, что это сбило с толку экзаменаторов. Позднее именно эти черты принесли Раневской славу.

Фаина Георгиевна рассказывает о злоключениях, которыми сопровождалось начало ее творческой биографии, со своим сочным, неповторимым юмором, и глаза ее искрятся таким молодым озорством, что трудно поверить: она на пороге 85-летия.

Мы беседуем с актрисой у нее дома в Южинском переулке. Статная, со свободно откинутой седой головой, она сидит в стареньком кресле и листает альбом художественных репродукций.

– Подарок Сергея Юрского к дню рождения, – поясняет Фаина Георгиевна. – Очень рада, что этот талантливый художник пришел в наш театр имени Моссовета. В прошлом сезоне он поставил комедию моего любимого драматурга А. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше». В ней я занята в роли Филицаты. С нетерпением жду, когда в театре закончится летний перерыв и я снова выйду на сцену.

Не одно поколение зрителей восхищает щедрый талант Раневской, создавшей галерею образов, ставших классикой советской сцены и экрана. Это – Васса Железнова и спекулянтка Манька в «Шторме», трогательная Люси Купер в пьесе «Дальше – тишина» и гротескная Маргарита Львовна в «Весне». От природы наделенная редким комическим талантом (вспомните: вся страна повторяла ее уморительные реплики в «Подкидыше»!), актриса в то же время потрясала зрителей глубоким трагизмом в «Мечте» и «Лисичках».

Актриса прожила большую, яркую, необычайно интересную жизнь. Сама она считает, что больше всего ей повезло на людей, с которыми сводила судьба. С восторгом рассказывает Фаина Георгиевна о встречах с Маяковским, Цветаевой, Пастернаком, дружбе с Ахматовой, Качаловым, Улановой. Их фотографии с надписями, полными любви, признательности, восхищения, – на стенах ее комнаты. Автограф Дмитрия Шостаковича прикрыт

полоской бумаги, видна только подпись.

– Уж слишком лестно обо мне написал. Неловко показывать, – объясняет Раневская. И понимаешь, что для нее, человека удивительной скромности, наша беседа – лишь повод, чтобы добрым словом вспомнить дорогих ее сердцу людей.

Слушая Фаину Георгиевну, думаешь, какую замечательную книгу воспоминаний она могла бы написать. Оказывается, такая рукопись существовала, но, не удовлетворив взыскательного автора, была порвана в клочья: Раневская – человек решительный…

Говорят, у нее трудный характер. Наверное, это правда. Просто есть вещи, к которым она нетерпима, и тут уж ни чего не поделаешь. Никому, даже самым даровитым из своих коллег, не прощает расхлябанности, зазнайства, фальши в жизни и творчестве, цинизма, неуважения к зрителю. Непомерно требовательная к себе, к исполнению каждой роли, проигранной, может быть, сотни раз, готовится, как к премьере. В канун спектакля никого не принимает, на телефонные звонки не отвечает.

– Боюсь играть, страш-но! – признается актриса, смешно округлив глаза. Парадокс – если не знать, что так было всегда. И когда она только начинала, и теперь, когда ее актерский стаж насчитывает более шести десятилетий, а имя стало легендой.

И еще об одной черте Фаины Георгиевны нельзя не упомянуть – о ее отношении к молодым дарованиям. Именно Раневская привела когда-то Любовь Орлову в кинематограф, а студентке факультета журналистики Ие Саввиной, снявшейся в фильме «Дама с собачкой», прислала письмо со словами одобрения. Так же горячо поддержала она творческие поиски Инны Чуриковой и теперь искренне радуется каждому успеху своих любимиц – Марины Нееловой, Аллы Демидовой, Натальи Гундаревой.

Время, отведенное на беседу, давно истекло, но уж очень не хочется покидать гостеприимный дом, где так много книг и цветов, где растет огромное, упирающееся в потолок апельсиновое дерево и расхаживает по комнатам лохматый пес по кличке Мальчик – когда-то Раневская подобрала его на Тверском бульваре замерзающим, с перебитыми лапами.

– Очень люблю животных, – говорит Фаина Георгиевна. – Еще люблю читать. Но всему на свете предпочитаю работу. Это моя страсть, моя боль и мой праздник.

Вместо послесловия

– Как в дни, когда я начинала свою жизнь в театре, так и теперь я знаю, что служение театру – в существе своем служение людям, служение правде. Русский театр всегда был средоточием духовной жизни общества, его поиски всегда были исканиями нравственного, его триумфы всегда были победами его передовых идей. Вот почему кажутся мне неверными пророчества неизбежного конца театра в век телевидения и кино. Театр будет жить вечно – не может умереть великое чудо возникновения искусства на глазах зрителя. К тому же все значительные открытия нашего века, влияющие на человеческое мышление, непременно находят в искусстве театра свое отражение.

Театр – это ежедневный праздник. Именно поэтому он обязан быть вдохновенным и кропотливым трудом. Хотелось бы, чтобы внимание театралов было привлечено не только к творчеству актеров, режиссеров, художников, но и ко всем тем, кто радуется нашим победам, оставаясь в тени кулис.

Театр существует для всех, а не для избранных, однако театр горячо заинтересован в требовательном и увлеченном зрителе. Такой зритель, как никто, способен оценить и смелое новаторство, и бережное отношение к лучшим традициям русской сцены.

Фаина Раневская,
народная артистка СССР

Иллюстрации

Молодая Фаина Раневская в Баку. 1920-е гг.

Мама Раневской М.Р. Валова

Отец будущей актрисы Гирши Фельман

Раневская в детстве. Фото с братом

Юная Фаина с сестрой Беллой (слева) и братом (справа)

Белла, старшая сестра Фаины Георгиевны

П.Л. Вульф, памяти которой Ф.Г. Раневская посвятила стихотворение

Фаина Раневская в начале 1920-х гг.

Фаина с сестрой Беллой (слева)

Изабелла Георгиевна Раневская. На обратной стороне фото надпись Ф.Г. Раневской: «Сестра тоже, как и я, любила собаку»

Фаина Раневская. 1929 г.

Ф.Г. Раневская в 1931 г.

Фаина Раневская в роли Зинки из «Патетической сонаты» Н. Кулиша в Камерном театре. 1931 г.

Фаина Георгиевна в роли Вассы Железновой в одноименном спектакле по пьесе Горького в ЦТСА

Фаина Георгиевна в фильме «Золушка», 1947 г.

Фаина Георгиевна в киноленте «Мечта». 1943 г.

Ф.Г. Раневская исполнила роль Берди в постановке Московского театра драмы «Лисичек» Л. Хелмана. 1945 г.

Ф.Г. Раневская в роли матери невесты в киноленте «Свадьба». 1944 г.

Миссис Мак-Дермот в исполнении Фаины Георгиевны в фильме «Встреча на Эльбе». 1944 г.

Ф.Г. Раневская и актриса Н.С. Сухоцкая (справа)

Ф.Г. Раневская с Т.И. Пельтцер (слева) и И.С. Саввиной (справа)

Фаина Георгиевна всегда стремилась быть в курсе новостей литературы и искусства

Фаина Георгиевна с домашним питомцем, сиамским котом Тикки

Ф.Г. Раневская и актер Ростислав Плятт

Фаина Георгиевна с мамой и родней в Румынии. 1957 г.

Ф.Г. Раневская (Антонида Васильевна) в спектакле «Игрок» по Ф.М. Достоевскому

Фаина Георгиевна с Мариной Неёловой

Ф.Г. Раневская в роли Анны Сомовой и А. Севастьянова в роли Титовой в «Сомов и другие»

Фаина Георгиевна в театральной гримерной

Ф.Г. Раневская в 1980-е гг.

Фотография квартиры Ф.Г. Раневской

Гримерный столик в квартире Фаины Георгиевны

Гостиная в квартире Ф.Г. Раневской

Фаина Георгиевна жила очень скромно

Спальня Ф.Г. Раневской

Рабочий кабинет Фаины Георгиевны

Марья Александровна из «Дядюшкиного сна» Ф.М. Достоевского в исполнении Ф.Г. Раневской

notes

Примечания

1

Здесь и далее М.Г. – комментарии Мих. Гольденберга.